

ВЛАДИМИР

МАКАНИН

Один и одна



Владимир Семенович Маканин

Один и одна

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=139395
Маканин В. С. Один и одна: Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978-5-699-58628-8

Аннотация

Они идут по жизни смеясь – встречаясь и прощаясь, не огорчаясь... как в известной песне Андрея Макаревича, герои романа Владимира Маканина живут одним днем. Не завязывают серьезных отношений – ни с друзьями, ни с любимыми. Очень одинокие мужчины и женщины, которые в глубине души все же надеются на чудо – встретить того самого или ту самую, которые придут, спасут и навсегда останутся рядом.

«Один и одна» – роман о надежде, вере и любви. Никогда не стоит откладывать их на потом, ведь это «потом» может никогда не наступить...

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	22
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Владимир Маканин

Один и одна

Глава первая

Инженер Константин Даев совершенно случайно оказался в гаме и толчее большого вечера; происходило вроде бы нечто общественное – он не знал что. Веселились в огромном и размалеванном подвале жилого дома. Стоял ряд столиков. Но было не вполне ясно, почему веселый и разношерстный народец столь самозабвенно танцует среди скульптур и скульптурных групп (там и тут над танцующими парами возвышалась грандиозная голая женщина из гипса, то с корзиной цветов, то с веслом). Впрочем, люди – это люди, танцуют везде.

Молодая женщина внятно ответила ему:

– Нет.

Но ни слово, ни кислое выражение ее красивого лица его не смутили. Константину Даеву было уже тридцать пять лет, и он крепко стоял на земле. Суть изначальных отношений нехитра: надо только не уходить в сторону. Грубоватый и хорошо зарабатывающий старший инженер Даев не спешил. Да, он груб, но не пошл. Сейчас он ждал свою минуту и, предвкусывая, уже отдыхал душой, тем более что увидел приближающуюся к молодой женщине ее подругу: не так красива, но тоже мила.

– Подруги? – спросил он, вбирая ее чуть потеплевшие глаза.

– Да...

– Но, если подруги и меж собой ладите, неужели не выпьете шампанского? Вот так внезапно и с совершенно незнакомым молодым человеком? – лукаво, как ему казалось, спросил Даев. (При этом он хохотнул, и они вновь ответили: нет, не выпьем, но ответили уже проще и не столь категорично. Следовало, стало быть, еще выждать.)

Он пошел потолкаться среди народа. На столиках вино – это понятно, но нет ли где винной раздачи? Нет ли где-то укромного винного погребка, откуда и проистекает живительный ручей? Он миновал полуподвальную комнату, завешанную рисунками и белогипсовыми масками, затем другую комнату, уже без рисунков, затем третью, и четвертую, и пятую – подвал есть подвал, и комнаты могли тянуться бесконечно, но вот Даев заметил приземистый, широченный холодильник и рядом переминавшегося с ноги на ногу парня. Над ними (над холодильником и над парнем) возвышалась опять же скульптурная группа. Три гипсовые нагие женщины – богини? – стояли обнявшись, и каждая правой, свободной от объятия рукой выразительно показывала вниз как на источник. Если дармовое вино вообще имелось, то оно где-то здесь. «Дай-ка пару бутылок!» – сказал парню Константин Даев, не отрывая глаз от богинь. Парень поколебался. Он окинул взглядом Даева без тени доброжелательности, придирчиво, если не сурово, но затем дал – лениво открыл холодильник и дал именно две бутылки.

Взяв вино, Даев возвращался к красавице – упускать ее надолго из виду не следовало. Женщины уже потанцевали и теперь просто стояли среди танцующих. Разливался вальс. Даев стоял рядом, зажимая две бутылки под мышками. Мелькнула мысль, что, не загляни он случайно в этот шумный подвал, он шел бы по городу в самый снегопад, когда снег на крышах и на карнизах, снег на шапках прохожих. Башни из бетона, фонари, махонькие старинные церкви – всё в снегу.

– Ну что, милые женщины, хорошо жить, когда тепло? – Константин Даев улыбнулся. И, словно бы прочитавшие его мысли про снег и про холод, они тоже наконец улыбнулись.

Он спросил их имена – они сказали.

Геннадий Павлович Голощеков также пришел незванным и почти случайно, однако он знал, куда пришел. Он неторопливо возвращался с работы, когда по правой стороне улицы на заснеженной стене дома разглядел несколько странное объявление: размалеванный плакат, оповещавший, что скульптор Н. (тот ли самый?) здесь, в подвале этого дома, «празднует премию и приглашает весь белый свет» – так вот было написано, броско и с вызовом, что напомнило вдруг Геннадию Павловичу времена молодости. (В те времена скульптор Н. был просто студентом Колькой, который громко шмыгал носом, воевал с преподавателями, а всем окружающим и вообще «всему белому свету» норовил сказать *нет!* – с Геннадием Павловичем они друзьями не были, однако общались. И однажды попали вместе в какую-то протестную историю.) Сердце так откровенно зачастило, что Геннадий Павлович понял, что взволнован, досчитал до полста и только затем – уже неспешно шагая по заснеженной улице – решил: можно будет, пожалуй, полюбопытствовать. Он, пожалуй, придет: он скромно придет, когда вечер будет в разгаре, дома же он предварительно поест, выпьет чаю и отдохнет час-полтора, и *можно даже не спешить*. Так попал он на необычную вечеринку, где хотелось взглянуть на людей своей молодости и где, увы, ничего ожидаемого он не увидел.

Народ оказался смешанный и заметно грубоватый, не их народ, Геннадий Павлович уже жалел, что пришел. Как он услышал из разговоров вокруг, Н. получил не только какие-то крупные деньги, но и наконец-то премию или даже сразу две премии, отчего и был в эйфории уже несколько дней кряду. Было шумно. Захмелевший, вероятно, еще с утра, Н. сидел от происходящего как бы в сторонке, в еле освещенном углу и всем подряд победоносно оттуда улыбался. Говорить он, кажется, не мог. Происходящим торжеством заправлял сегодня его брат, однако брат был значительно моложе скульптора, и потому публика, которую он зазвал и собрал, вполне соответствовала: мальчишки, двадцать пять – тридцать лет; слишком шумно играла их музыка, слишком танцевали; впрочем, был теплый, приятный полумрак и горели фонарики там и тут над застольем.

К пьяненькому и счастливому Н. Геннадий Павлович подойти не решался – тот мог не узнать, не вспомнить. Пожалуй бы, он вспомнил, но, конечно, удивился, и даже бы шумно удивился, и даже бы, возможно, вскричал: сколько, мол, прошло лет и зим и где же Геннадий Павлович, то бишь Генка Голощеков, был все эти годы? Как где – здесь же и был!.. Именно от неизбежности вопросов Геннадий Павлович в последнюю минуту заколебался, идти ли сюда, и пришел заранее уж смущенный, притом придерживая за горлышко купленную бутылку вина, *чтоб не с пустыми руками*, хотя спиртное здесь, разумеется, лилось рекой. «Меня, собственно, не Н. волнует. Скульптор как скульптор. Кажется, он стал в искусстве обычным приспособленцем. Но он добр, это видно по лицу, это чувствуется, а я... я просто хочу посмотреть людей. Давно не видел», – объяснял Геннадий Павлович самому себе, все еще волнуясь и нет-нет поправляя на горле душивший галстук.

Мастерская была огромна: большое отапливаемое помещение располагалось под восемью жилыми квартирами первого этажа. Люди званые и по большей части незваные (то есть те, кого званые попривели с собой), как ни много их было, разместились легко и свободно – комнаты отделялись лишь наполовину означенными переборками, так что, переходя из одного квартирного отсека в другой, в живописном пространстве подвала вполне можно было заблудиться. В лучших отсеках швы и трубы водоснабжения искусно декорировались, в прочих – колена труб были на виду, перед глазами меж двух рисунков (набросков) вдруг возникал кусок первозданного подвала, нагие бетонные плиты и крюки арматуры. Был и таз, в который мерно падали капли.

Геннадий Павлович, сросшийся с утонченным своим одиночеством, был теперь оглушен шумом людей и беспрестанным общим их движением: застолья по пять, восемь, десять

человек были как бы разбросаны, рассредоточены и в то же время на глазах перемещались, перетекали одно в другое и были слишком живы в пространстве мертвенных бюстов и гипсовых выставленных скульптур. Возле скульптур, рассматривая их, Геннадий Павлович и простаивал. Как-никак в гостях. И как-никак искусство. И не просто же пить и есть зван всякий – не просто же так гипсовые торсы, возвышающиеся, сколько позволял подвал, подсвечивались снизу яркими лампами.

Конечно, приспособленность к вкусам публики была заметна как в групповых, так и в одиноких выставленных женских фигурах. Но напоминать о горячих спорах юности по истечении стольких лет не нужно, нельзя (можно лишь аккуратно). Предоставленный самому себе, Геннадий Павлович шел от скульптуры к скульптуре и, увы, не приближался, а как бы все больше отдалялся, отчуждался от Н. Та минута ушла. Подойти же во всякую минуту и броситься этак в объятия, шумно поздравить Геннадий Павлович не умел. А спустя время и брат скульптора, с которым Геннадий Павлович, ища подхода, обменялся двумя-тремя словами и который хотел подвести к Н., оказался слишком занят людьми и распорядительской суетой. К тому же он (брат Н.) куда-то исчез. Так что вечер воспоминаний не удался, а отношения с человеком, еще не возникнув, свелись к нулю; наслаждайся, друг милый, шумным людским роем, – повторял себе Геннадий Павлович, а люди вокруг и впрямь были шумны, пестры, веселы и сравнительно с Геннадием Павловичем потрясающе молоды. Полумрак, несильное освещение отчасти скрадывали возраст, но Геннадий Павлович и в полумраке хорошо знал про свои пятьдесят с лишним лет, потому-то втиснуться в застолье и даже просто спросить, заговорить о чем-либо ему было трудно среди этих шумливых тридцатипятилетних, *практичных, хватких, они нам испортили песню*, они орали, кричали друг другу «Эй, ты!», ссорились и бродили, покидая свое застолье, или, напротив, кричали и сбивались вдруг в группу. Теперь там и здесь хрипел магнитофон: слушали бардов.

Чтобы ублажить гостей уже сверх всякой меры, Н., счастливый от свалившихся на него премий и денег, пригласил, как оказалось, на торжество своих натурщиц, хотя, возможно, решилось это проще и шло не столько от загула и щедрости Н., сколько от желания самих натурщиц: хотелось погулять. Так или иначе пятнадцать – не то десять милых и очаровательных, с артистической меланхолией в лице (и невероятно сбитых, крепких в нижней половине тела) молодых женщин развлекались сами и заодно развлекали других возле выставки работ, то есть в самой нарядной и прибранной части пространства мастерской. Они охотно танцевали: смеясь, вдвоем-втроем пили шампанское, а то вдруг и сами подходили к гостям, так что можно было видеть с кем-либо танцующей эту статную молодую женщину и вдруг воочию угадать, узнать неподалеку на небольшом постаменте ее голову, ее замечательное тело, застывшее в гипсе. Нагие тела были вполне скромно и изящно сработаны, можно было без стеснения восхищаться, разглядывать и даже шумно угадывать – кто есть кто.

Одна из них пригласила Геннадия Павловича, возможно приметив его некоторую неприкаянность и повышенный интерес к скульптурным группам. Во время танца она же объяснила ему, почему люди, танцуя, поглядывают на ту или иную скульптуру. Он искренне удивился:

– А где вы?

Он так долго молчал, что слова у него вырвались; к тому же Геннадий Павлович смутился: не спросил ли он слишком поспешно или нечутко – но нет. Она очень спокойно ответила и еще более спокойно и, кажется, не без удовольствия показала глазами:

– Вон там...

Танцуя, они приблизились. И тут она извинилась, засмеявшись, и сказала, что ошиблась, – да, да, скульптуры переставили. Вероятно, вчера. И почти тут же сказала уже точно, определенно:

– Вот я... Руки подняла к голове – видите?

– Ах! – сказал с восхищением Геннадий Павлович, на что она опять удовлетворенно засмеялась.

Вечер тем временем набирал обороты; всюду наново слаживались компании, люди танцевали, шумели, сталкивались в своих интересах и затем вновь сосредоточивались вокруг столиков и бутылок. После столь замечательного танца с молодой женщиной Геннадий Павлович вновь был один. Он уже остыл. Он почувствовал, что утомился, устал: толпа придавила. «Что ни говори, возраст за пятьдесят, – думал он. – Редко выхожу на люди; холостячество, конечно, тоже наложило печать, *что наше, то наше*».

Мельком он еще раз увидел пьяненького, счастливого премиями Н. и подумал, как развела судьба: он не завидовал Н., но, впрочем, и не жалел его, так сильно полинявшего. Каждому свое. В известной мере Геннадий Павлович был вполне горд долей, какую имел; и если вокруг него не было сейчас торжества и шумных на торжестве людей, то это также входило в долю. Вокруг Н. не было ведь истинно дружеской компании, весь мир был ему компания, когда скульптор целовался с подходящими к нему справа, слева и не узнаваемыми им людьми; целовался, а слова сказать не мог. Теперь Н. и вовсе сидел один (был неподвижен, был и сам в огромной своей мастерской, как застывший в гипсе). С полузакрытыми глазами, он, по сути, уже давно отключился от происходящего веселья. Давно сидел в одиночестве. Кругом яростно плясали. Н. что-то, впрочем, шептал... разобрать было нельзя, но, подойдя ближе, можно было считать с его тихо шлепающих губ повторяемое шелестящее одно-единственное слово:

– Счастье... Счастье... Счастье... Счастье...

Скользя взглядом по возбужденным чужим лицам, Геннадий Павлович нет-нет и невольно отыскивал глазами натурщицу, которая так великодушно пригласила его потанцевать, а затем, мило попрощавшись, ушла к подружке. Она и сейчас стояла с подружкой, с очень красивой натурщицей, а от той уже не отходил ни на шаг и все словно что-то доказывал крепкий, напористый мужчина лет тридцати пяти. Угадать его было несложно: таких мужчин Геннадий Павлович привычно сторонился, не любил их, хотя и не мог отказать им в столь замечательных современных качествах, как неослабевающий напор и натиск. И называли его эти молодые женщины вполне под стать – Константином. Они стояли недалеко. Когда Геннадий Павлович сделал шаг (шажок) в их сторону, но, в сущности, остался на месте, а затем вроде как вновь шагнул к ним и вновь не сдвинулся, натурщица, с которой он танцевал, улыбнулась. В конце концов толчки танцующих пар и шастающих туда-сюда молодых людей, да, да, шумные людские потоки как бы общей своей волей и силой притолкали, прибили Геннадия Павловича к ней, и он, конечно, тоже ей улыбнулся: мол, это опять я; тогда она дружески кивнула, а Константин, перехвативший их взгляды и изо всех сил добивавшийся внимания ее красивой подружки, заспешил:

– Ну вот, наконец-то нас четверо!

Ему, хищному, было сейчас важно как-то скрепить группу, придать ей устойчивость, тем самым ограничивая возможности других мужчин, таких же (возможно) хищных, как он сам. Геннадия Павловича, едва глянув, он счел человеком подходящим: старомодным, но представительным и интеллигентным, разговор поддержать умеющим, что было сейчас более или менее главным. Вчетвером и правда они как-то обособились.

Натурщицы шушукались о своем, смеялись, а Константин, придвинувшись к Геннадию Павловичу, вел мужской разговор: нас двое и их двое – кажется, все ясно? но какие красавицы, а? и ведь молодые – сейчас же позвоню своему приятелю, нет ли на сегодня свободного жилья!.. Он так пылал, так рвался в бой, что Геннадий Павлович колебался *да* и колебался *нет* – и так получилось, что, пересилив холостяцкую привычку никого в дом не пускать, Геннадий Павлович сказал о пустующей своей квартире. (От неожиданности всего

этого шума, танцев и от нечаянности знакомства Геннадий Павлович как бы проговорился.) На что Константин Даев – да зови меня просто Костей! – уже через две секунды повторял, хлопая его по плечу:

– Квартира?! Да ты же клад! да ты же бесценный на нынешний вечер человек! да ты просто брильянт неграненый!..

Пятидесятилетнему с лишним человеку он (разумеется, шутейно) говорил «ты», хлопал по плечу, пошло его поощрял, хамил, впрочем, все это предполагалось в подобном типе мужчины, так что Геннадий Павлович даже и знал их, *следующих за нами*. И грубый Даев, и простецки милые молодые натурщицы, и этот вечер, и шумная музыка вели сами собой Геннадия Павловича к некоему узнаванию, к знанию, которое он уже преотлично знал. Быть может, шумный людской рой хотел показать (подсказать?) ему что-то новое? Но не было и не могло быть нового в Даеве, как не было и в нем, в Геннадии Павловиче, никакой новизны для этих нынешних, для мужчин и для женщин. Он видел – а они не скрывали. Толпа разбудила, но осталась толпой. (Что касается милой натурщицы, Геннадий Павлович даже и не протягивал ей свою опознавательную полурыбку: чужие.) Так что ни замысла, ни более или менее направленного его желания тут не было – случайность, просто случай. И, едва пригласив в свою квартиру, Геннадий Павлович уже вперед жалел о потерянном времени, к тому же прикидывал и не без некоторой паники соображал – чисто ли у него в доме, на их женский взгляд, опрятно ли, и (что наше, то наше) совсем уж по-холостяцки жался и в душе слегка скрипел, не исчезнут ли, мол, некоторые книги после их посещения; люди как люди.

Очень смешно и грубовато (зазывно) этот человек повторял молодым натурщицам:

– Зовите меня просто – *Кин-стин-тин*...

Он как бы воочию создал собой и своей энергией черту (границу) и отстранял за эту черту всех других, познакомившихся прежде него и теперь также пробовавших подойти или хотя бы пробиться к красивой, облюбованной им женщине. (Он стремительно оглядывался и хрипло вдруг шептал, придвинувшись совсем близко: «Мужик, уйди. Мужик, прости, но тут все забито!» – он и доверительно шептал, и в то же время с чувством своей правой хамской силы хрипел прямо ему в лицо, пока «мужик» не отходил в сторону.) На выходе в толчее Даев также не позволил никому к ним прибиться, ни им самим раствориться в какой-либо большей компании, нас четверо, мы сами вполне компания и, заметьте, плотная компания – нет уж, лишних не надо! Не обижай, мужик, нашего Геннадия Павловича! четверо, только четверо! – отбивался он от наседавших. Быстрый и на улице, Даев уверенно взял, перехватил такси, усадил всех в машину, и они поехали к Геннадию Павловичу. Тем бы все и кончилось. Однако молодые женщины были и просты, и не так уж просты, у них, как выяснилось, были свои планы (и своя жизнь). Завидев большую красную букву метрополитена, они вдруг разом отрезвели, ожили после столь бурного натиска и закричали таксисту в уши с двух сторон: стой! стой! – не ожидавший, тот затормозил, и они вмиг выскочили, выскользнули из цепких объятий Даева, так как машина стала как вкопанная и как раз у метро.

Мужчины вышли тоже; машина уехала; шел несильный снег. Даев, разумеется, и у метро вновь принялся их уламывать, и даже грустный Геннадий Павлович, смущенно следивший за всей этой современной операцией оболъщения, тоже отчасти вдруг возбудился и тоже сказал несколько слов «своей» натурщице, приглашая в гости. Он приглашал, касался ее плеча – она не была красавицей, но была очень-очень мила. «Нет, нет. Невозможно», – улыбались они. Даев зазывал, уговаривал, шептал и даже что-то откровенно сулил, но женщины, кутаясь в шубки, отказались уже определенно и наотрез. Они были натурщицы, у них были (или могли быть) утренние планы на завтра, да, да, на завтра, и, возможно, они берегли себя и свои тела не менее, чем пианисты, скажем, берегут пальцы и певцы горло.

Даев в разговоре затягивал теперь время, чтобы, увлекшись, они не попали в метро, но и этим их было не провести. Та, что красивая, чутко спохватилась и посмотрела на часики, после чего женщины ушли, нырнули в зев метро, а еще через минуту метрополитен закрыл свои двери. Так что гости Геннадия Павловича сами собой отпали, вечер опустел. Но в воздухе остаточное все еще клубилось обаяние этого Даева, который в последние минуты весь искрился и отпускал (вероятно, характерные для нынешних дней) гротескные сексуально-двусмысленные шутки, столь наперченные, что обе молодые женщины хохотали неудержимо, а менее красивая, что как бы предназначалась Геннадию Павловичу, даже и сгибалась от смеха, хватаясь за живот. Казалось, они забыли все на свете. Казалось, сама мужская природа в полушаге от метро звала их и зазывала. И та, что красивая, возможно, совсем случайно глянула на свои крошечные часики, минутой-полтора глянь она позже, и на метро бы им домой к себе уже не добраться, а так как жили они обе достаточно далеко, денег на такси у них могло не быть. Или поскупились бы. Минута-полторы – и они бы, конечно, пошли скоротать ночь у Геннадия Павловича дома... – объяснял Даев.

Но Геннадий Павлович, которому в последние минуты почему-то делалось все больше жаль молодых и красивых женщин, был теперь, пожалуй, даже доволен. Падал неслышный снег; у входа в метро сидела сытая кошка, на кошку тоже падал этот мягкий снег, а за стеклами станции маячила поздняя уборщица в оранжевой фуфайке и с шваброй в руках. Было ощущение тихо опускающейся ночи.

У Геннадия Павловича дома Константин Даев выпил рюмку водки и, уходя, все еще негодовал; можно было подумать, что милые молоденькие натурщицы своей сдержанностью наплевали ему в самую душу.

– Да полно тебе, – успокаивал Геннадий Павлович, когда они после рюмки водки перешли на «ты». – Да полно!.. В конце концов, у них есть право на выбор: они интересные женщины, они обе совсем молодые – чем же они виноваты?!

Даев перебил: мол, женщины как женщины, мне, мол, она нравится, а на права интересных женщин или на права женщин неинтересных, как и на все прочие словеса, я плевать хочу!..

И ушел.

И уже на следующий день вечером Даев привез свою красавицу в дом к Геннадию Павловичу, сумев-таки и отыскать ее после работы, и каким-то образом встретиться, и уговорить. Дело было решенное, понятное. Для Геннадия Павловича, однако, оно оказалось непредвиденным и явно неожиданным, так как Даев, что называется, нагрнул часов в десять вечера: он вошел с красавицей в прихожую и, отряхивая с ее шубки снег, мигнул Геннадию Павловичу именно как о деле понятном, хотя они вовсе ни о чем не улаивались, после чего прошел с своей милой напрямик в дальнюю комнату. Геннадий Павлович так и остался стоять меж прихожей и кухней, пребывая в растерянности. Затем он отправился все же на кухню, поставил на огонь чайник и что-то приискал к позднему ужину, а те двое, не выходя, продолжали быть в его дальней комнате; дверь они закрыли... Геннадий Павлович неторопливо пил чай. Через какое-то, совсем немалое время Даев вышел: он был в халате Геннадия Павловича, он прошагал к нему на кухню, где и сказал:

– Не суетись.

– Но к столу что-то положено, хотя бы сыр, масло, чай.

Даев махнул рукой:

– Кому нужен твой чай!.. Ты, главное, не волнуйся, женщин у нас будет сколько хочешь – понял?

И вкусно закурил сигарету.

Они ушли часа в три ночи – в первом часу они ненадолго выбрались из комнаты на кухню, выпили водки, выпили и по чашечке чаю, красивая натурщица смущенно улыбалась

Геннадия Павловичу, говорила очень мало и скромно; теперь было видно, что она совсем молодая. А Даев то посмеивался, то изображал друга, недавнего, но искреннего друга Геннадия Павловича, который озабочен тем, что у Геннадия Павловича есть квартира и есть много книг, но нет женщины, нет личной жизни. Он делался значителен, серьезен. (Это было забавно.) Он вдруг расспрашивал о жизни. Или же громко и даже требовательно спрашивал у своей красивой подружки, как там та, вторая натурщица, с которой танцевал Геннадий Павлович, где, мол, она и как – и что у нее за характер? А едва красавица стала объяснять, что та жива-здоровая, что завтра она работает, а послезавтра выходная, как Даев вновь перебил: «Ничего, ничего – мы ему подыщем настоящую женщину. Не робей, не робей, дедуня!..»

Когда они уходили, этот хамоватый Даев еще и потрепал Геннадия Павловича по плечу: – Я же вижу, дедуня, что ты мхом порос... Не беда, что-нибудь придумаем!

Они уехали.

А Геннадий Павлович, засыпая, думал так и думал этак: мысль, истончаясь, становилась уже сном и во сне снова мыслью. Грубый Даев даже в минутные приятели не годился, однако вот выставить его Геннадий Павлович почему-то не спешил, и, может быть, ему, Геннадия Павловичу, уже доставляло известное удовольствие убедиться, что во внешнем мире перемен нет и что Даев, случайно выхваченный из потока улицы, по-прежнему банален и ничтожен, как сама улица. Даев случаен, но и не случаен. И быть может – это уж во сне, за границей сна и совсем уж на краешке сознания подползла та притихшая мысль, что Даев с его деловитостью и суетностью поможет и впрямь найти некую милую женщину, почему же нет? – все вместе складывалось в ощущение, в котором засыпающий Геннадий Павлович чувствовал себя щедрым, гостеприимным и объяснял кому-то и как бы даже разводил во сне руками, говоря:

– Да пусть. Пусть приходят...

Они пришли и на другой день. И на третий. И только на четвертый день красивая натурщица Даеву уже словно бы надоела: возможно, она и правда капризничала, подчеркнута хотела ухаживания, но возможно, что и заранее отношения не предполагались более чем на три дня, если они вообще как-то предполагались; так или иначе, на четвертый день Даев был уже недоволен, цеплялся к словам и устроил ей сцену за десятиминутное опоздание. Геннадий Павлович только-только хотел удивиться их скорому началу романа, как уж роман кончился, и теперь надо было уже удивляться его скорому концу.

Что там ни говори, их приходы и их встречи Геннадия Павловича заботили. Уходя среди ночи, эти двое ночь разбивали, он вставал зевая, пил с ними вновь горячего чаю, закрывал за ними дверь – и засыпал наново. Но сны были хорошие. Да и реальность, казалось, допускала более или менее интересные перемены – Даев груб, но не лишен ума, и можно его обтесать, привив любовь если не к книгам, то к разговорам о книгах. Почему же нет? Квартира, общение и даже род дружбы, когда после работы двое мужчин встречаются потолковать и обсудить вместе день-деньской. Пересказы книг – это своего рода магия, превращающая приятеля в ученика: они пьют чаек, покуривают, умничают, после чего Костя Даев, наслушавшийся рассказов о жизни одиноких философов, говорит: а не поразвлекься ли, мол, нам немного? – и, пристроив телефон на коленях, звонит бесчисленным своим подругам.

(Но тут уж Геннадий Павлович не попустительствует. Он устроит строгий отбор: пусть Костя Даев звонит, но пусть Костя Даев знает, что в дом приглашаются достойные женщины и отношения с ними должны быть интеллигентны. Здесь вовсе не квартира для свиданий. Женщины, со своей стороны, с удовольствием облагораживают и отношения, и быт, если не отнимать у них этой ясной роли. Такие, как Даев, пусть знают.) Со временем одна из женщин, возможно, влюбится в Геннадия Павловича: возраст – это возраст, конечно, но зато Геннадий Павлович из тех, кто не подведет. «Так приятно опереться на кого-то в жизни!»

– скажет однажды женщина и, возможно, привяжется к нему. И вот уж встречи их почти необходимость, она в нем, и он в ней – они открывают один в другом некую тайну, и вот чудак Костя Даев немного даже ревнует: неужели, мол, любовь?..

Грубоватый друг, он хлопает Геннадия Павловича по плечу и говорит сурово:

– Геннадий Павлович, помни: женщина – только женщина, а дружба – это дружба...

На этом вот изысканном сравнении огромности дружбы и огромности любви, на необходимости, быть может, сделать из этих чувств выбор Геннадий Павлович Голощеков, человек одинокий, ни дружбы, ни любви не имеющий, сладко засыпал. Человек умный, он знал и эфемерность, и даже пародийность этих картинок. Но такова жизнь. Он успевал и посмеяться над собой, и даже отметить, что сейчас он именно грезит, играет в раскрашенные картинки, однако расслаблялся еще более и картинку себе позволял, потому что приятно же заснуть сладко.

Красивая молодая женщина надоедала Даеву все заметнее. Даев раздражался, и не прошло недели, как он, по мнению Геннадия Павловича, уже ужасно с ней разговаривал. И в отношении к самому Геннадию Павловичу, у которого в доме они с красавицей, попросту говоря, спали, он все более оказывался хамом. Даев в тот вечер ждал какого-то звонка и курил одну за одной. Когда Геннадий Павлович, прикупив продукты к выходным дням и поставив варить мясо, между прочим сказал, что мясо попало хорошее, мяса много и что пригласить на воскресенье каких-нибудь гостей и впрямь будет не стыдно, Даев вдруг грубо спросил:

– Чего это ты разволновался?

И фыркнул:

– Может, воскресенья никакого не будет – не суетись!

И действительно, в субботу все кончилось.

Они исчезли. И больше не появлялись.

Какое-то время Геннадий Павлович в инерции одиночества все еще продолжал размышлять о несостоявшихся разговорах с Даевым, а также о том, возможны ли своеобразные отношения, где он передал бы мысли, накопленные за многие годы, и увлек высоким знанием, ну хотя бы отчасти, этого ужасного прагматика. Тут была возможность подумать общо. (Разумеется, в параллель Геннадий Павлович ясно понимал, что некий современный проходимец, животное, которому негде было затеять похотливый романчик, использовал его жилье, ел, пил и исчез вместе с женщиной, притом что женщину эту, красивую и молоденькую, он тут же и бросил; куда бегут эти даевы, куда они так спешат и так торопятся? – задавался он вопросами.) Затем размышления сошли мало-помалу на нет. Итог был взаимен. Разумеется, Даев считал, что он надул пятидесятилетнего лопуха, попользовался его жильем и в нужный миг исчез, но он не все знал и, в частности, оказался не в силах постичь заурядным своим умом, что, и исчезнув, он все равно вполне *обнаружился*, каждому свое, Геннадий Павлович не только увидел – и ведь на первой же глубине отношений уже нет меж людьми вопроса и нет проблемы, кто кого надул. Не об обмане же речь, и неужели столь простенькую вещь эти даевы так и не умеют, так и не успевают узнать?

Одинокие и размеренные дни вновь сомкнулись вокруг Геннадия Павловича, как смыкается вода. Жизнь идет. Геннадий Павлович привычно ходит на службу, а вечерами перед сном, как всегда, много читает. Он один, он сам по себе.

Нинель Николаевна шла с работы, когда у светофора, заканчивая переход улицы, нос к носу столкнулась с рыжеволосым мужчиной, который оказался ее бывшим однокурсником по институту. Разговорились – и бывший однокурсник (им уже за сорок!) пригласил ее заглянуть на полчаса, что ли, к нему домой: он живет рядом. Жена его также оказалась приветливой женщиной, была гостье рада и как раз наварила айвового варенья – показывала выставленные, чтобы остыть, банку за банкой, а рыжеволосый однокурсник в тон ей прихвастывал:

«Смотри, Нина, как потемнело варенье! хороший признак: в айве окисляющегося железа больше, чем в яблоке!» – пили чай, болтали, свежесваренная айва была и точно вкусна, и так у них в доме было хорошо, уютно, что, когда три дня спустя в скверном настроении, после стычки с начальником, она шла по этой же улице, ноги сами собой привели Нинель Николаевну в их дом.

Начотдела ее распекал (он это умеет), но она только бледнела, менялась в лице. Было душно, жарко. Да, Нинель Николаевна достойно промолчала и достойно же вернулась на свое место. Она спокойно убрала в стол бумаги и калькулятор, спокойно взяла сумочку, спокойно ушла, и лишь на улице ее стали душить слезы. И голова кружилась, Нинель Николаевна старалась себя отвлечь и думать о хорошей погоде, сейчас же в отпуск, в отпуск! – лето всегда лето, и можно же, в конце концов, отпроситься пораньше!.. Она увидела (слева, за светофором) тот самый дом, где была три дня назад. Она, кажется, не раздумывала. А едва войдя, все-таки заплакала, уткнувшись в плечо рыжеволосого мужчины, бывшего своего однокурсника: он уложил ее на тахту, дал капель валерьянки, открыл окно, впуская больше воздуха. Он даже и разговор медлительный завел, а затем, помогая ей расстегнуть ворот блузки, когда она и впрямь стала было успокаиваться, набросился на нее нетерпеливо и алчно, как может наброситься торопящийся сорокалетний с лишним мужчина на женщину своего возраста. Они были одни в квартире, жены, разумеется, не было. Нинель Николаевна, слава богу, ударила его по лицу, еще ударила и, кажется, закричала, и, даже когда она уже уходила, красная полоса так и горела на его физиономии. Боже мой! что же за люди такие?! Она сдержанна и строга. Она ведь чистюля. Неужели в ее поведении появилось с возрастом что-то такое, что дает возможность мужчине пытаться и даже надеяться на легкий успех? Или мнимая доступность проглянула в ее общем упрощенно-конторском облике? – блузка, юбка, туфли, прическа. Витрина отражала: по асфальту одновременно с Нинелью Николаевной шла женщина с ее лицом. И тут ее кольнуло: да почему же она думает про покрой юбки, про цвета одежды, почему именно эти ее мысли – первые?

В последний день Даев уже всю ему хамил, непрерывно пил и каждые пять минут заводил речь о некоем своем замечательном приятеле с Алтая Олжусе, *друге истинном*, а не на время, вероятно стараясь таким разговором лишний раз щелкнуть одинокого Геннадия Павловича с его книгами и умничаньем. Дружба – свята. В дружбе суть и соль. А мол, умникам жизнь не дается и никогда не дастся, в этом ее, жизни, великая справедливость. Но еще свирепее Даев одергивал и ставил на место красивую натурщицу, с которой он к этому дню совсем не считался.

– Что вы, жалкие, понимаете!.. Он с поезда, его надо по-людски встретить и по-людски устроить на ночлег! – говорил он об алтайском приятеле.

– Зима, – поддакивал Геннадий Павлович.

Красавица обиженно молчала.

Квартира сделалась сильно прокурена; на столе стояли неубранные тарелки, хлеб и ссохшийся сыр. Стояли и бутылки, над которыми почти зримо витали алкогольные пары. Свою красивую молодую женщину, а также Геннадия Павловича гуляющий Даев чуть ли не силой заставлял пить, закусывать, снова пить, и потому ситуация в психологическом плане существенно не менялась: Геннадий Павлович в приятной расслабленности был сам по себе, а Даев и его молодая женщина продолжали выяснять свои отношения. (Геннадий Павлович обычно не пил или пил совсем мало, но тут, зная, что не сегодня-завтра все это кончится, он себе как-то позволил и впервые за много лет пребывал в бездумном и довольно приятном, гармоничном состоянии. Да, да, он совсем не думал! Голова с непривычки побаливала, но легкая боль казалась делом пустячным и, в сущности, совсем небольшой платой.)

– Не могу, – говорила молодая женщина.

Но Даев повелевал:

– Ладно, ладно, по одной еще стопке – и помчимся! говорю же, по стопке – и помчимся на волю! пей!..

И наливал Геннадию Павловичу:

– Пей!

И чокался с ними, на них не глядя.

Геннадий Павлович опрокидывал стопку, а затем, отчасти удивляясь самому себе, соглашался – да, да, это разумно, это очень разумно, выпить и куда-то пойти, поехать. Воздух – это прекрасно. Зима – это чудесно. Но эти двое (молодые!) все только спорили, и у Геннадия Павловича возникало желание пойти, может быть, одному, просто пойти одному погулять – подышать снегом.

Вдруг – и все трое они оказались уже в такси, притом что такси мчало и красивая молодая женщина очень торопила водителя. Да, да, надо ей помочь добраться! надо поскорее! – говорил Геннадий Павлович сочувственно, так как она не просто куда-то торопилась, но опаздывала и по этой причине, вероятно, все время всхлипывала. Геннадий Павлович слушал ее, сопереживал, но вдруг переставал что-либо слышать, только смотрел на проносившиеся мимо дома – мозг был приятно затуманен. Он еще помнит, что за окном машины летел косой снег, что рядом сидела молодая женщина, всхлипывала и просила водителя – я, мол, тороплюсь, скорее...

– Успеется, – отвечал ей Даев. (Он сидел впереди, с водителем.)

– Меня ждут, меня очень ждут.

– Я тебя тоже вчера ждал.

Такси не то чтобы не спешило – нет, таксист поспешал, однако он часто останавливался, так как Даев то на одной, то на другой улице внезапно выходил, чтобы, как он говорил, вернуть небольшой денежный должок. Вновь они остановились. И вновь он шел отдать давний денежный долг – именно сегодня у Константина Даева были деньги и был, так сказать, день чести: день оплаты. «Рассчитываюсь со всеми в один день. Иначе когда я еще соберусь – верно?!» – И Константин Даев левой рукой хлопал по плечу таксиста, что таксисту совсем не нравилось. Но таксисту тоже было уже заплачено много и вперед, и он только криво улыбался, когда его хлопали.

Молодая женщина сидела, вжавшись в сиденье; всхлипывая, она говорила Даеву какие-то малопонятные слова, а то вдруг жаловалась Геннадию Павловичу, который от выпитого вина был совсем притихший, или таксисту, который и вовсе молчал. Впрочем, Геннадий Павлович ее утешал, нет-нет и повторяя, что *все будет хорошо*. А Даев продолжал возвращать свои долги или втискивался с разбега в заснеженную телефонную будку на углу, узнавая, намного ли опаздывает скорый из Читы с его алтайским другом Олжусом, – затем такси мчало по улицам; затем вновь стояли. Молодая женщина порывалась уйти – один раз она даже выскочила из машины и, оглядываясь вверх и вниз по улице, замахала рукой, однако другого такси так сразу не нашлось, к тому же она забыла сумочку, а когда вернулась и быстро взяла лежавшую на сиденье возле Геннадия Павловича черную сумочку, уже успел появиться из подъезда дома Даев. Он вновь усадил красивую натурщицу в машину.

Он упрекал:

– Торопишься?.. А знаешь ли, сколько я ждал тебя вчера – сколько я на тебя вчера времени потратил!

– Но поверь же, Костя, я не могу, не имею права так много опаздывать: мне это тяжело!..

– Мне тоже не всегда легко.

Придавленный хмелем и укачанный однообразием движения, Геннадий Павлович задремал. (Мелькали огни, проносились встречные машины – за окном тот же косой снежок.)

Когда он проснулся, такси мчало по каким-то совсем новым улицам, а красивая молодая женщина по-прежнему просила Даева, наконец, поторопиться – да пойми же, Костя, вечер, муж уже пришел от мамы, он нервничает...

– Немного подождет, – отвечал Даев, закуривая.

Их утомительному взаимному расспросу, казалось, не будет конца.

– А почему не подошла к телефону?

– Меня в отделе не было. Я выходила в магазин.

– Но я же позвонил и расспросил, я же не болван: с работы вас никого ни на одну минуту не отпускали.

– А я отпросилась!.. Я говорю правду, правду!

– Правду говорят только старики и старухи.

Она заплакала.

Геннадий Павлович вдруг переполнился к ней состраданием; проснувшийся, он стал было вмешиваться в их разговор и что-то советовать, но Даев к ним влоборота, с переднего сиденья двинул его неприметно кулаком в бок, притом двинул сильно, так что Геннадий Павлович ойкнул и смолк. Он только гладил молодую женщину по голове, утешая: мол, не плачь, не надо... Он мало понимал их – что Даев, что его подруга, то крикливая, то плачущая, казались ему совсем чуждыми людьми, лишенными в своих отношениях некоей изначальной доброты. Они словно бы давно сбились с пути; помочь в этом им было, вероятно, невозможно, поздно, а оттенки конкретной их ссоры были, конечно, слишком личны, почти не улавливались и проносились стремительно, как вода на перекате быстрой реки.

– Я должна, Костя, вернуться скорее – мой муж очень нервничает...

– Я вчера тоже нервничал.

Таксист молчал.

Геннадию Павловичу было нехорошо, и он уже корил себя тем, что ведь все или почти все знал наперед и ведь уже сколько лет не хотел, сторонился, берегся, а все же угодил в этот чужой и жесткий мир отношений.

Когда подъезжали к дому, молодая женщина попросила: я здесь выйду, не надо подъезжать ближе.

Даев, однако, сказал:

– Вон к тому подъезду.

– Не надо, – она взмолилась. – Он же из окна смотрит: ждет. Ты человек или не человек? Ведь спрашивать сейчас станет – тебе меня не жалко?.. Ведь он ждет и глядит в окно.

– К подъезду езжай, – велел Даев.

– Я пойду пешком! Остановите. Я сама... Прошу...

Даев рывкнул таксисту:

– Прямо к подъезду – иначе все деньги назад!

Таксист подъехал к подъезду.

Молодая женщина вышла из машины и бочком-бочком, словно бы гнущаяся, как побитая, засемила домой. На снегу она поскользнулась.

Геннадию Павловичу стало невыносимо тягостно, затем ему стало грустно, а затем его мало-помалу укачало, и он опять задремал. В конце концов, Геннадий Павлович знал, с кем общается и с кем он вступил, хотя бы и на время, в человеческий контакт, так что если Даев очень скоро стал звать Геннадия Павловича полуиздевательски дедушкой, дедуней, то ведь и Геннадий Павлович считал и звал его за глаза – хамом. Отношения оценочны. (Что касается прекраснотушного желания Геннадия Павловича искренно с ним поделиться, отдать, передать и возникшего заодно ощущения, что стал-де томить накопленный багаж знаний, то и томление интеллектуальным багажом, и желание передать, поделиться, как ни благородны они по первоначальному, в сущности, отдаются старением и возрастным распадом. Природа

педагогике довольно понятна. Мы живем жизнь, а жизнь *живет нас*.) «Все книги да книги, – говорил, усмехаясь, хорошо зарабатывающий инженер Константин Даев, если только меж двумя рюмками у него находилось время взять с полки книгу, полистать ее и усмехнуться. – Тебе, дедуня, следует непрерывно о женщинах думать!.. Тебе уж внуков пора иметь, а ты все еще не умеешь знакомиться с женщиной в ресторане – ну, ничего, ничего, я займусь проблемами твоего высшего образования!» И смеялся:

– Я таких тебе милочек поприведу... – И обаятельно, хитро улыбался, отлично зная, что он здесь всего на пять-шесть дней и что никаких милочек он сюда не приведет, *то-то дедуня расстроится*; с какой стати он, Константин Даев, потащится еще раз в эту пыльную книжную нору, так уж случилось с красивой натурщицей, но ведь надо ж было где-то приткнуться, и притом сразу, иначе навсегда упустишь, таких, как она, надо брать сразу и без отлагательств, *хотя бы на крыле самолета*. Да ведь и эти мысли Даева, прагматичные и пошлые, Геннадий Павлович читал легко!

А кажется, опять тормозим, куда-то приехали...

Полудремавший Геннадий Павлович очнулся среди вспыхнувшего света и цветных огней Казанского вокзала; в толчее машин на привокзальной площади было шумно, людно, суетно, но вот в их такси втиснулся толстый, в эффектном малахае Олжус – и вновь они покатали по городу, закупив предварительно в магазине много пива.

Сначала машина долго и без всякого смысла кружила по Садовому, колесила кольцо, так как Даев и алтаец Олжус предавались воспоминаниям: оба радостно вспоминали некие былые денечки и говорили о дружбе. Пили из горлышка. Олжус замечательно открывал пиво зубами, открывал со скоростью невероятной, он как бы откусывал пробки, для себя – раз, для Даева – два, после чего оба хохотали, глухо чокались бутылками, а глоток за глотком пиво прикончив, дружно выбрасывали пустые бутылки за окно машины.

Геннадий Павлович интеллигентно осведомился:

– Простите – мне кажется, вы испортите себе зубы?

– У меня стальные.

Геннадий Павлович подумал было, что говорится о зубах в переносном смысле, как, скажем, говорится о железном здоровье, но в эту самую минуту алтаец надвинулся, приблизил лицо и, дыхнув пивным духом, обнажил сплошную сталь:

– Красиво?

Свернув с Садового, машина устремлялась теперь по улицам то к одной, то к другой группе домов: Константин Даев вновь заезжал к своим многочисленным знакомым, но на этот раз заезжал он к знакомым исключительно женского пола и с новой заботой – поселить, устроить. Поднимаясь вместе с Олжусом в ту или иную квартиру, Даев показывал его и аттестовал как прекрасного будущего жильца, называл сумму, однако раз за разом неизменно получал отказ. Что делать: жизнь подчас непонятна. Никто из его знакомиц поселить на время его лучшего, близкого, ближайшего друга не желал, притом что некоторые удивлялись, даже и оскорблялись: с чего это он, Костя Даев, решил, что она, Валя (Ира, Женя, Лариса, Вера...), пускает жильцов? Были свои отношения, были свои и взаимные надежды, но о жильцах она, Валя, и думать не думала. Да никогда! Да ни за что на свете!.. Но ведь на улице пурга и ведь как уютно было бы сейчас на кухоньке, где приглушенный свет лампы и милое женское воркование за чаем! Но ведь она уже сказала – нет. Слово за слово, и некоторые из них – Лариса, Вера – начинали чуть не в голос кричать о том, что пурга и снегопад бывают каждую зиму и что пурга не конец света, но тогда уже Даев обижался за своего лучшего, близкого, ближайшего друга и, в свою очередь, кричал на них. Костя Даев уходил и пушечно хлопал дверью. Он, мол, отныне сюда – ни ногой! Раздраженный неудачами, Даев винил погоду, пургу, и, кажется, полнолуние, и женщин, а затем помалу стал сердиться на

своего друга в страшном малахае: чего это ты, друг мой, не нравишься им, может, ты смотришь нескромно?!

Перед (пятым или шестым) визитом в дом Даев, уже сильно недоумевая, велел Геннадию Павловичу также вылезти из машины и на минуту подняться с ними на этаж для представительности и интеллигентного общего вида – они так и вошли втроем, постояли в прихожей и поуготоваривали, но и тут Олжус получил отказ. (В пальто и в шапках они стояли в дверях и мялись. «Да посмотри лучше: хороший же мужик. Почему ты не хочешь пустить его дня на три?» – спрашивал Даев женщину лет тридцати пяти – сорока. Алтаец улыбался.)

Вновь они мчали по Садовому; заехав в тот самый магазинчик, прикупили пива, и спустя время Даев кричал водителю, хрипел ему прямо в ухо: «Жмись к обочине!..» И вновь опорожненные бутылки летели куда-то в снег, иногда со слышным звоном. И Константин Даев размышлял вслух: мол, перебрал уже всех, но где-то здесь была знакомая (и милая) женщина – ах да, как я забыл, на Кутузовском!.. И орал водителю, хрипел: «На Кутузовский проспект! давай-давай!..» – а когда подъезжали и поднимались, стуча ногами, к знакомой (и милой) женщине на этаж, Константин Даев предварительно минуте-две успокаивался: менял стиль. Константин Даев объяснял сложившуюся ситуацию уже не с налета, а сначала тишел на пороге, мял шапку, стараясь говорить вежливо и глядеть не зло: Валечка, да как же так... милая, гм-м, ну, прямо неожиданность, ну, чем же плох тебе мой товарищ! Морозно же на улице, а выручить его – это все равно что выручить меня!..

Возвращаясь к такси, он теперь каждый раз как бы перекладывал неудачу на Олжуса.

– Чего улыбаешься?.. На пороге чужого дома закрывай свою пасть хотя бы немного. Твои зубы хороши для пивных бутылок, но не для моих женщин, – выговаривал Даев старому приятелю.

– Клянусь, хорошие зубы, – уверял алтаец.

Они опять в который раз оказались на Садовом; укачивало, и Геннадий Павлович уснул.

Он проснулся оттого, что машина стала, – Даев высаживал Олжуса прямо посреди улицы, посреди суровой зимы. Он пожал алтайскому приятелю руку. Он дал ему какой-то сомнительный адрес общежития и сколько-то денег. Мол, не скучай...

Олжус молча стоял возле машины.

– Прощай... Что поделаешь, если ты невезучий! Мне пора! Смени зубы! – кричал Даев в раскрытую дверцу машины, после чего, обрубая окончательно, хрястко захлопнул дверцу.

И велел таксисту ехать дальше.

Геннадий Павлович оглянулся – человек в малахае, уменьшаясь, делаясь издали похожим на темный кокон, стоял с чемоданом посреди огромного заснеженного города; было видно, как отделяет его опустевшее Садовое кольцо и как по всей своей шири кольцо прочерчивается быстрой легкой поземкой. Обтекаемый снегом и ветром, Олжус не шевельнулся, так и остался стоять – без ночлега, с небольшим, вероятно, количеством денег.

– Жаль его – мороз нешуточный, – робко заметил Геннадий Павлович Даеву.

– Не люблю невезучих.

– Но он не замерзнет?

– Вот еще! Он в снегу спать может...

Помолчали. Даев насвистывал.

Он подвез Геннадия Павловича более или менее близко к его дому и высадил – это был финал, точка в их человеческом общении, потому что ни с красивой натурщицей, ни тем более один Константин Даев уже не собирался навещать Геннадия Павловича. Обостренным чутьем, свойственным всем долго живущим в одиночестве, Геннадий Павлович сразу же почувствовал. Жизнь как жизнь. Дверца такси была приоткрыта.

– Всего хорошего, Константин. Будет время – милости прошу, заезжай...

Тот, из машины, засмеялся:

– Прощай, дедуня... А ведь так и не привел я тебе ни одной подружки – не успел!.. Жаль!

И махнул рукой.

Геннадий Павлович пришел домой; он долго стоял под горячим душем, и в голове заметно прояснилось, к тому же после душа он с удовольствием выпил рядом две чашки крепкого чая. Спать не хотелось. Геннадий Павлович взялся было за книгу – на столе, на полу и даже на подоконнике, кругом было насорено, накурено, грязно, и тогда Геннадий Павлович из предосторожности надел на переплет книги целлофановый чехол, завтра он все уберет и выметет, вымоет и проветрит, слава богу, финал... Но не читалось. Геннадий Павлович дважды отрывал глаза от строчек и откладывал книгу, как вдруг понял причину внутреннего непокоя: его беспокоил тот, брошенный с чемоданом на Садовом кольце и мерзнувший. Алтайский Олжус стоял перед глазами, ежился от холода и ветра.

Была полночь.

Геннадий Павлович поморщился, он колебался – ему вовсе не хотелось вновь такой вот бытовой грязи, сигаретного пепла повсюду и пустых бутылок, вдруг выкатывающихся из-под дивана-кровати. (Даев входил, и они, пустые, как-то сами при звуке его шагов выкатывались.) И до такой степени хотелось поскорее, завтра же, навести в доме порядок и вернуться к своему спокойному одиночеству, что Геннадий Павлович вздохнул, заходил по комнате: ведь несомненно, что этот Олжус вновь заплует ему жилье...

– Человек мерзнет, а я обдумываю, – сказал он вдруг с укором самому себе. И, словно бы подстегнутый упреком, шагнул к окну, глянул на заснеженный градусник: ого!

Мерзнувший человек в малахае уже, конечно, куда-то ушел или уехал в такси, но надо же знать это точно, иначе, пожалуй, ночью только и будешь о нем думать. Вот ведь неожиданность. Геннадий Павлович почувствовал, что не сможет ни уснуть, ни еще раз спокойно выпить чаю, пока не поедет и сам не убедится, что тот, с чемоданом, не замерз.

Однако, колеблясь, он какое-то время заново доказывал самому себе необходимость и даже обязательность предстоящего ночного поиска, после чего наконец оделся и вышел. К ночи ветер прибавил. Сыпал снег, Геннадий Павлович, к счастью, поймал такси довольно быстро. И поехал.

Олжус стоял на том самом месте. И чемодан стоял рядом. В ночной полутьме, в снегу они как бы окаменели – и человек, и чемодан.

Когда подъехали ближе, Геннадий Павлович, открыв дверцу, окликнул и предложил поехать домой – не стоять же здесь ночью, а дома, мол, можно хотя бы выпить чаю и согреться, можно заночевать. Снег мешал говорить. Геннадий Павлович вышел; ежась на ветру, он еще раз пригласил, позвал и наконец пропустил человека в малахае в глубь машины. Сам сел рядом, сказал: ну вот и слава богу, едем ко мне... Машина тронулась. Еле двигая каменными, замерзшими скулами, Олжус произнес:

– Нет.

Геннадий Павлович опешил:

– Почему?

– Я хочу к твоей знакомой. К женщине. У тебя есть знакомые?

Геннадий Павлович, несколько смутившись, объяснил, что знакомых, тем более таких знакомых, у него нет. Существовали давние, мол, знакомые женщины, но они уж точно меня забыли, как и я их забыл, я старый холостяк, я ведь не Костя Даев. Олжус молчал. Машина все еще ехала по Садовому, а Геннадий Павлович даже заулыбался при мысли, что он решится привести этого человека со стальными зубами к какой-нибудь стародавней приятельнице, которая и самого-то Геннадия Павловича может не пустить в дом, не сразу узнать.

Машинально он полез в нагрудный карман, вынул записную книжку, оправдываясь, вертел в руках: вот, мол, пустая, без телефонов, – там только и есть записи очередных дел к отчету.

– Дай – сам найду, – сказал Олжус.

– Там ничего нет... – Геннадию Павловичу стало как-то конфузно за свою почти чистенькую книжицу, когда человек в малахае выдернул ее из рук Геннадия Павловича и теперь, не доверяя, сам вглядывался в чистые ее страницы при зыбком свете фонарей, что мелькали за стеклами такси.

Вдруг буркнул:

– А пиво?.. Почему мы едем без пива – давай повернем, поедем в тот магазин.

– В какой?

– В тот, где пиво.

– Это недалеко. Но ведь он закрыт. Уже ночь – магазин наверняка закрыт, – уверял Геннадий Павлович.

Но Олжус настаивал, что там было замечательное пиво и что они поедут именно туда, – деньги есть, значит, пиво будет. А если нет пива в магазине, они поедут в ресторан, нет в ресторане – в аэропорт. Припомнив ту улицу и тот поворот к замечательному магазину, Олжус выкрикнул название улицы таксисту, он рывкнул, почти как Костя Даев, и таксист тотчас повернул, поехал, даже поспешил – и теперь с каждой минутой таксист все больше слушал Олжуса, как и тот таксист, предыдущий, слушал Константина Даева. У магазина они встали – Геннадий Павлович приоткрыл дверцу машины, показывая и поясняя, ну, разумеется, мол, закрыто в ночной час. Он повторил, что и в ресторанах сейчас пива нет и что дома у него, к сожалению, только чай, но ведь чай с мороза – это чудесно. Он пояснял, как он заваривает чай, когда Олжус, убедившись, что окна темны и что магазин с пивом закрыт, негромко и даже как-то нараспев, мешая родные слова с русскими, выбрал такой мороз и такой магазин. Спокойно и почти буднично он вытолкнул Геннадия Павловича из машины в приоткрытую им же дверцу, столкнув с сиденья прямо на снег. Захлопнув дверцу, сказал шоферу: поехали, мол, дальше, – и они укатили, в то время как Геннадий Павлович выбирался из сугроба и искал шапку.

Геннадий Павлович поднялся; он отряхивал снег.

Лет тридцать – тридцать пять назад он был – *Геннадий Голощеков*; поначалу он лишь прекрасно учился и был из тех блестящих студентов, кто ходил на вечера поэзии и, до хрипоты спора о физиках и лириках, спорил о вечном. Была пора поэзии и поэтов, пора больших разговоров, и душа Геннадия Павловича, душа молодая и еще не умевшая, казалось бы, открыться, открылась тем не менее в тех разговорах вполне да и вполне выразилась.

Традиционно пьянило слово «справедливость», но еще более Геннадия Голощекова пьянило само общение людей, новизна общения, а также вдруг открывшиеся с ней вместе горизонты и возможности искусства. Он был такой не один – их было много! Искусство, стихи, живопись, театр сделались вдруг частью пылкой их жизни, хотя искусство, стихи, живопись они и не сами творили: сопричастность была огромна. Стоял зеленый шум. (Казалось, жизни не было – жизнь начиналась. Даже любовь – святое юных – была окрашена общечеловеческой сопричастностью. Расставались не вдруг, а в процессе необратимых взаимных оскорблений, а подчас, увы, лишь оттого, что он пылал верой в современную поэзию, а она, бедная, не понимала периодов развития Пикассо. Или, напротив, – именно она сама и навсегда оставляла своего дружка, оставляла с негодованием, вдруг обнаружив, что бедный малый в душе своей конформист.)

Претерпела и дружба.)

Возможно, по прихоти природы Геннадий Голощеков понимал тогда и поэзию, и живопись, и открывшееся общение людей больше, чем понимали другие, отчего и стала моло-

дость *сезоном его души*; никогда после Геннадий Павлович уж не был таким. Говорят же – свой час. И если о сезонах и о яблоках, он был сродни раннему *белому наливу*, яркому и солнечному плоду, который так скоро отходит, уступая место всем последующим яблокам вплоть до осени. Отошел – но ведь был. Так что в те дни слушали – Геннадия Голощекова, приглашали – Геннадия Голощекова, звали – Геннадия Голощекова. Жадно, хоть и бесстыдно, читавший ночами, днем Геннадий Голощеков мог выразить неожиданно много, мог сказать ярко и свежо, сказать талантливо, притом совсем необязательно сказать то, что так жадно читал. Он устаивался личных и очень лестных приглашений поэтов, скульпторов, живописцев – бывал у них дома, засиживался у них за полночь за кофе и за вином, всего лишь студент и говорун. Не раз и не два открывал он вечер поэзии в Политехническом, хоть не был ни критиком, ни даже молодым литератором, пописывающим втайне стихи. Тут не было затаенного комплекса или невыразившегося дарования – он именно жил, горел.

После вуза, работая научным сотрудником, а затем старшим научным сотрудником в весьма солидном учреждении, он и там лет семь-восемь, да, да, семь или восемь лет, не менее, держался на волне своего яркого, импульсивного дара, но говорил уже в русле своей работы (и в духе времени) не об искусстве, а о вопросах экономических или правовых, защищая прогрессивные методы, защищая человека, людей, массу и воюя с замами и с директорской свитой. Он сделался видным экономистом. Статистика, планирование как таковое, системы управления, АСУ – вновь он читал ночами, вновь обобщал. Вокруг него не затихали страсти и споры. Голощекова любили – Голощекова ненавидели. Был пик. Одно за другим выдвигал он экономические новшества, улучшающие процесс работы либо быт сотрудников. Он выступал много, говорил красно, и более солидными людьми (отчасти из ревности) был даже прозван *Хворостенковым*. А время шло: истый реформатор, говорун, деятель, он постепенно пришел к тому, что выдвигал планы до небес и поражал воображение, однако уже определившееся прозвище да и само отношение сотрудников к его речам свидетельствовали, что подступала иная пора.

Он не мог не почувствовать, что его золотое время уходит; ища реальности, он все более ссылаясь для обоснования на примеры истории или на конкретные, еще свежие выступления Хрущева, но слушали Геннадия Голощекова все меньше и спорили все меньше, а затем уже и не спорили: планы его и проекты скоренько и почти единогласно отводили.

Он тогда сам заметил некий присущий ему изъян: планы его превращались вдруг в фантазии, едва их начинали всерьез обсуждать. (А пока он говорил, блистая глазами и гоня вокруг себя возвышенную волну вдохновения, планы были так реальны, так заманчивы!) Однако, и заметив свой изъян, Геннадий Павлович Хворостенков продолжал выступать, предлагать, вмешиваться, так что однажды на каком-то из своих планов крепко споткнулся, ляпнулся – предложил он что-то совсем уж не то и не так, они проголосовали; ему бы спохватиться, но он настаивал. Его вывели и из объединенного профкома, и из технаучсовета, где он гремел и блистал, молодой, энергичный. Вывели без скандала. С ним поговорил некий умудренный старичок-эксперт и предложил от имени всех: не только выйти из технаучсовета, но, может быть, вообще перейти работать куда-нибудь еще. В другой НИИ. Пусть он, Голощеков, поразмыслит. Ему дадут добротную характеристику. Человек он, несомненно, талантливый, яркий, к тому же кандидат наук, он найдет себя и во всяком другом месте, в любом, в то время как здесь, если он останется, будут долго ему помнить и поминать, как он ляпнулся (будут, пожалуй, и посмеиваться), – ни им всем, ни ему, талантливому, это не нужно, верно?

Он обиделся и уволился немедленно.

Мягко стелили, спать было жестко. В их памяти он таким и остался: говорливый, белолицый, встряхивающий чубом, всегда улыбающийся и полный идей, как полон коробок спичками. Именно что Хворостенков и именно что прогорел. Он ведь признал, что в послед-

нее время предлагал неумно и что его как бы заносило все круче. Так что, когда итожили, порешили сурово: болтун, мол, и прогнали за дело. Тогда сделались модны такие разговоры. Хотя, возможно, не все думали так. Во всяком случае, двенадцать или четырнадцать человек, молодых сотрудников и сотрудниц, кто вдруг получил квартиру в новом доме (ведь рядовые, недавние, совсем зеленые, им бы еще ждать и ждать), никак не должны были бы вспоминать о нем плохо, грешно им, что называется, и не к чести. Именно он, Хворостенков, в пик говорливого своего взлета сказал, точнее, выкрикнул: «Квартиры – рядовым сотрудникам» – фраза из банальных, звучавшая сто раз, но в его жарком словесном потоке обновленная, несла та фраза свежий заряд, так звонко и чуть ли не торжественно он ее повторял, притом так неотвязно, настырно-страстно, что им и вправду дали. *Дали* – потеснив в первой половине списка начальство, а во второй – всяких знакомцев, к строящемуся дому присосавшихся и, как водится, уже доказавших бумагами свою причастность и даже необходимость; дом вот-вот сдавался. Не сильно их потеснили, однако же на двенадцать, на четырнадцать квартир. (В числе получивших был один мой старший приятель, друг той поры, от кого я узнал о Геннадии Голощекове побольше и попространнее. А впервые о Голощекове я услышал еще в вузе, где обучался позже него и где даже восемь-десять лет спустя жил миф и оставались в ходу его яркие, колкие словечки: следы необыкновенного говоруна в стирающейся памяти поколений.)

Обида оказалась глубокой: перейдя в новый НИИ, Геннадий Павлович замкнулся, стал молчалив. Он стыдился теперь своей говорливости и дутых идей, которые, как ему казалось, лопнули мыльным пузырем, лишь забрызгав людям глаза. Товарищам, а также девушкам, что были в него влюблены, а их была целая группка, он не сказал, куда перешел работать; спрятал следы.

Он хотел забыть. Он побаивался, что на новом месте как-нибудь узнают о былой его активности, прослышат, а там уговорят, а там выберут, скажем, в профком или в бюро, а там пригласят выступить – и пошло-поехало. Он боялся, что молва опередила и что его уже знают. Но никто не знал. Его никуда не выбрали, не пригласили. Он жил в слишком большом городе, в огромном городе, и он как бы растворился, исчез, ушел навсегда, перебравшись, если по географии, всего-то на три километра к северу. (И вот уже с облегчением он почувствовал, что вокруг незнакомые!) В контактах по работе Геннадий Павлович теперь следил за собой, подавлял желание говорить, стараясь отвечать кратко, а по возможности обойтись словами: *да* или *нет*, или *я постараюсь*, или *это едва ли получится*, – особенно же сдерживая откровенности, как свои, так и встречные, то есть откровенности тех, кто искал его приятельства и, пусть невольно, хотел о новом сотруднике знать побольше. Но в душу, к счастью, никто не лез. И можно было жить спокойно. Тем более что здесь, в НИИ, как раз догорал свой Хворостенков, кажется, с фамилией Петянин или Петюнин; финалы схожи – Петянин был узнаваем, он был столь же фантастичен, прекрасен в идеях, а на взгляд извне столь же смешон и нелеп, так что Геннадий Павлович как бы лишний раз увидел себя со стороны и лишний раз подумал, не дошла ли молва, какое счастье, что не дошла.

В параллель сошли на нет его контакты с людьми искусства, с *именами*. Он иногда общался с ними в вечерние часы, по-домашнему, отчего приобрел тогда небольшое, но своеобразное влияние одинокого интеллектуала и философа, к которому приходят на поздний чай. Был род клуба. Геннадий Павлович уже тогда собирал книги по философии, так что был гостеприимный холостяцкий дом, квартира, где можно вечером посидеть, умно поболтать, полистать редкое издание: «Есть такой Голощеков, не бывал у него?.. Ум, эрудиция и какой интеллект! Человек, который почти все читает в подлиннике!» – эта слава также сходила на нет, тем более что, когда Геннадия Павловича наряду с другими умниками и высокого ранга специалистами зазывали крупно поговорить на всякого рода *круглые столы* и *открытые*

вечера, приглашали повторно, приглашали письмом или устно выступить там-то и там-то, он уж никуда не ходил. «Я уже не боец», – любил повторять он с улыбкой. Он отказывался и отшучивался, притом что, быть может, совсем не шутя боялся и здесь своего очередного хвостенковского полета к небесам и прогорания.

Люди искусства, с именами и без, хаживавшие к нему на чай, как-то сами собой перестали бывать. Он не очень жалел: он был уже закален и знал, что такое, когда от тебя отвернулись. А затем прошло лет пять, и оказалось, что потускнел не один он. Оказалось, что сверстники и приятели, немногим пережив блестящий, звездный его период, также потускнели или прогорели, после чего также отодвинулись в сторону (иные в обратном порядке – сначала были отодвинуты или отодвинулись в сторону, а уж затем потускнели, поблекли) – так или иначе, они сошли. Они растворились в пространстве и во времени, а думали, что растворились в людях. Потускнев, каждый из них словно бы спешил остаться один. Как и он.

В вузе Геннадия Голощекова обожала группа студенток младшего курса, *стайка*, как говорил он. Он их, в общем, не различал. Он лишь находился в поле этой постоянной любви-обожания, этого поклонения, явно выраженной их симпатии, которая (он тогда не осознавал) значила много. Когда пришли зрелые годы, стайки, увы, не было – вокруг иные, незнакомые люди, и в медленно потянувшемся ином времени сойтись с женщиной надолго Геннадий Павлович, как оказалось, не очень-то умел. Семейная жизнь не складывалась. Его постигло несколько бытовых разочарований, даже неудач. Однажды он вдруг вообще засомневался в своей способности жениться, то бишь жить с женщиной постоянно, долго, и тогда же он впервые подумал, что, вероятно, ему предстоит ровная, одинокая жизнь, что нет друзей и нет любимой женщины, но что есть дящаяся жизнь духа и есть какая-никакая служба в НИИ, небольшая квартира, оставшаяся после рано умерших родителей, книги.

Когда сколько-то еще лет спустя я пришел к нему (по некоему книгообменному интересу), Геннадий Голощеков был в полном одиночестве. Я помнил вузовские легенды: я удивился.

В детстве своем я прежде всего помню снег: много снега.

В дни, когда умирал мой брат, один из моих братьев, я был совсем мальчик, и его смерть, страдание, как таковое, еще не могли тогда ни сопричастить, ни войти в меня глубоко: страдание было рядом, но было – не мое. Брат умирал в своей кровати. Мама плакала. Стояла зима. Я испытывал лишь тупое беспокойство, пришибленность в чувствах и смутный испуг, перемежающийся даже и любопытством. И кто-то из старших ребят барака сказал, видя, что я ничего в горе понять, почувствовать не могу, только вздрагиваю и только губами трясу, когда произносят имя, – кто-то из них, из старших, сжалился и сказал, рядясь во взрослого, а может быть, и правда желая облегчить и передавая ранний опыт взрослых: *выпей...* – когда водка нашлась и принесли стакан, я, поразмыслив, с некоторою даже важностью согласился, после чего выпил вдруг и разом сразившее меня количество спиртного. Я оказался кувыркающимся в снегу: помню, что снег был глубокий. И что холод я ощущал проникающими в меня тонкими, приятными иглами.

Мне стало вдруг совсем тепло и весело, когда я кувыркнулся в глубоком снегу. Я прыгал в сугроб, переворачивался и обеими руками взметал вверх, над собой, облако искристого белого цвета. Шапки на мне не было. Две девочки, проходившие мимо, смеялись. Я вставал, я падал, а упавший, непременно переворачивался и подбрасывал ладонями снег кверху, тер снегом лицо, снежинки слизывал и ел их, ел, ел, и было так светло в глазах и оранжево от приставших к ресницам маленьких солнц. Если же упасть и лежать лицом вверх, небо в другой стороне совсем синее, высокое.

Глава вторая

К тому времени, когда Геннадий Павлович Голощеков сделался молчаливым, уже не по принуждению, а естественно молчаливым, жизнь определилась. Он не общался, он редко сходил с женщинами, но и сойдясь, не откровенничал – он бесконечно много и уединенно читал. Чтение в конце концов поглотило его, примирило, он сделался счастлив, живя жизнью книг, и, как всякий, кто подолгу о прошлом думал, в итоге пришел к тому, что на пылкое свое прошлое оглядывался уже с улыбкой, а подчас с большим и искренним удивлением, как на жизнь другого человека, господи, чего там только не было! (И ведь именно что прогорело. А какое, казалось, пламя. Какой стоял треск.)

Правда, в памяти, хотя и тускнея от лет, жила та стайка девушек. Из них, в него влюбленных, Геннадий Павлович никого тогда не выбрал, не сблизился, даже не отличил именем, ибо парил в облаках и был, кажется, влюблен во всех них сразу. С улыбкой рассказывал он, как ему нравилось, что они приходят заранее, за десять минут, и что садятся в первых рядах, слушая каждое хворостенковское его слово, и как, обласканный взглядами, Геннадий Голощеков тех лет любил, вероятно, свою славу, а не этих девушек; может быть, он любил саму их влюбленность в него, любил высоту их чувства и, кажется, думал, что это длится вечно.

И лишь позже, когда сдуло пену, он вспомнил, что они смеялись и что они огорчались, что у них были не какие-то, а одинаковые нарядные туфельки и что, если шли вместе, девушки ступали очень ровно, как бы и на ходу подравниваясь. Они отлично знали свое девичье обаяние, но, скромные, не могли же они выявлять, потому и шли рядом, вровень, чуть-чуть потупив глаза и, стало быть, вместо ряда прекрасных молодых глаз выявляя для начала лишь ряд туфелек; в пушкинском смелом веке сказали бы – ножек. Одна, с черными тревожными глазами, держалась обычно немного сзади, как бы соглашаясь, что с ее глазами никак нельзя даже на полшага вперед, и даже вровень, шаг в шаг, когда такие глаза, тоже нельзя – нескромно. Страх как соблазн. Быть может, именно она разыскивала Хворостенкова, когда он, замолкший, прикусивший язык, перешел в другой НИИ. (Но нет: ее, с черными глазами, он также нисколько не выделял, это уже поздняя невольная подтасовка, это уж память сейчас старается – он же никак их не разделял. Он знал их *вместе*.) Их было пять или шесть.

Так что на скучных своих лекциях (как и на вечерах знаменитых поэтов) пять или шесть красивых девичьих лиц держались вместе – красота смыкалась в строй. Казалось, они в стайке лучше защищены. Надеяться на свою и отдельную судьбу, но до известной поры быть вместе – так было проще. Они были слишком юны, каждая из них могла ночью думать и сколько угодно вздыхать о Геннадии Голощекове применительно к себе одной, но днем каждая рыбка спешила в стайку, в общую толщ воды, в спасение и укрытие общностью.

Возможно, он сумел бы и заметить, и увлечься, и оторвать от стайки, сумеет сама она (любая из них) хоть как-то отделиться. Но в перерывах он общался не с ней, а с ними, он подходил не к ним, а к ровному строю красоты, красота же обезоруживала, и никого из них в отдельности он не видел. Да, была темно-русая, с подрагивающими черными глазами. (По ней было заметно, волнуется ли вся стайка за него, остроумен ли он сегодня – нервничает ли?) Истинно одухотворенное лицо было все же у другой – у беленькой, внешне спокойной и, кажется, чуть склонной к нервическому облизыванию губ.

«Но не гарем же мне нужен!» – упрекал он себя уже тогда за неумение выбрать. Строгий и целомудренный юноша, он объяснял себе, что, по-видимому, он еще не созрел, мол, все впереди – пока же он, мол, любит их всех, да, да, любит и не желает выбирать, не станет он выбирать, не хочет!.. Мысли возвратились к предстоящей полемике. Сидя на аван-

сцене, за красным столом с графином воды и перевернутыми чистыми стаканами, Геннадий Голощеков ждал первой же возможности высказаться, иначе с минуты на минуту мог вновь выступить серьезный (и достаточно обаятельный) соперник из комитета, отчаянный полемист, которого побивать было каждый раз непросто. Но не искоса поглядывать за противником, а одолеть – творить на порыве преодоления. Чувством, которому и сам удивлялся, Геннадий Голощеков почти физически ощущал, как возникает (он знал, что она есть) та высокая духовная струна, на звук которой слушающие люди откликаются и вдруг отвечают; вздрагивают. После чего сам собой проносится живой ветер по рядам партера, ветер-вздых, ответный и единящий людские души с твоей куда лучше, крепче боя ладош, рукоплесканий и всяческих одобрительных криков из дальнего ряда.

(Но и крики бывали к месту. Голощеков запнулся, случилась пауза, и тогда дружески и негромко молодой парень выкрикнул:

– Гена, Гена, мы здесь!

Так трогательно и неожиданно вышло. Засмеялись. И сразу вокруг загудели: гуу-ууу... гу-ууу... пронеслось по рядам, давай, давай, Гена, говори дальше, Гена, – *мы все здесь.*)

Даже и туфельки их были одинаковы, словно бы и туфельки не хотели отличаться, обнаруживаться, – стайка располагалась всегда в первом или во втором ряду, справа, так что, выступавший, скользнув глазами, он первым делом видел эти светлые туфельки, светлые же стройные ножки, а затем их лица, а уж затем, отметив, что стайка в покое, оглядывал аудиторию, иногда, впрочем, совсем небольшую.

После вуза он распределился работать в одну из научно-исследовательских организаций, а спустя три года влюбленная в него стайка девушек, не вся, но большей частью, распределилась туда же, вслед за ним – «след в след», притом что столь нацеленное их трудоустройство ничем иным не объяснялось. (Одна из них, с тонким, породистым лицом, уже вышла к тому времени замуж и родила мальчика. Но все равно она обожала Гену Голощекова и, совмещая с обожанием семейную жизнь, также приходила и также ловила каждое его острое словцо, когда он гремел, стоя теперь за зелено-бархатистым столом технаучсовета. Стесняясь своего замужества, она садилась теперь не в первый и не во второй, а в третий ряд. Если же провожали до метро, она шла только первые пятьдесят шагов, затем сворачивала, уходила к семье, к сынишке, нет-нет и оглядываясь на Гену, а также на подруг, провожающих его, а также на группу молодых и немолодых людей технаучсовета, окружавших Геннадия Голощекова, который с ними вместе скрывался за поворотом и все говорил, говорил...)

Распределившиеся вслед за Голощековым девушки все к этому времени прибавили в женственности и расцвели. Секс не был тогда столь загодя определяющ, и Геннадий Павлович не помнит, была ли, скажем, у кого-то из них замечательная, привлекающая издали грудь, но, конечно, тайна и в те дни умела оставаться тайной и вдруг обернуться бытовым очарованием; он помнит, к примеру, тот момент, когда платья стали им тесны и вся стайка, как воробы, загомонила о магазинах. Платье в те годы девушка так уж сразу купить не могла: ждала, выбирала, колебалась, а старое платье на ней уже ничего не ждало, только теснило. Еще помнит Геннадий Павлович третью из них, с торчащими, туго заплетенными белыми косицами, потом ее же – с длинными волосами волшебного цвета, рассыпанными по плечам, а потом вдруг с короткой стрижкой, делающей ее похожей сзади на светловолосого паренька. Но это, кажется, и все, что он помнит. Имен не помнит. Разговоров не помнит. Да, да, стоило одной из них выделиться, обнаружиться, тронуть его за рукав чуть более властно, он бы, вероятно, не устоял, предпочел, а общая их любовь рухнула бы незамедлительно – и потому-то каждая, казалось, не желала рисковать. Если обнаружит себя одна, то, занервничав, выявит себя другая, затем и третья, отчего скромная их гармония рухнет, сменившись индивидуальной разностью выделяющихся и броских причесок, платьев, резких

слов, выпячиваний, обидных женских прозвищ и прочих откровений эгоистической войны; они же невольно (и неосознанно) предпочитали мир. И совсем не сразу в НИИ та, третья, вновь распустила волосы *по белым плечам*, и Геннадия Голощекову, видному экономисту, трибуну, деятелю, ее пряди, длинные и белеющие, как молочные, казались излишне вольными, смелыми. Старики там неожиданно оказались более тонкими ценителями. Старики просто сходили с ума.

Когда же он стал смешон, нелеп со своими ослепляющими идеями и когда попросили его уйти по-доброму и доброго имени ради, Геннадий Голощеков перешел на новое место совсем неслышно, тихо. Стыдившийся краха, он спрятался, зарылся в один из неброских новых НИИ, не подавая о себе ни знака, так что никто из прежних его не навестил, не нашел; молодые женщины также не нашли, он решительно не желал их видеть и сказал им, что перебирается из Москвы в Питер. Их он стыдился особенно. Только лет десять спустя они стали вновь мало-помалу возникать в памяти. (Он вдруг вспомнил и долго, неотвязно держал в себе, как та, с черными глазами, шла за ним следом по коридору общежития, хотела что-то сказать – однако, смущенная, догнать никак не решалась. И каблучки ее туфелек стучали: так-так... так-так-так...) Теперь, к году год, их забывающиеся лица все более обволакивались таким светоносным чувством: поздней любовью. Возникали обрывки давних разговоров. Отдельные их слова. (Напоминало цитирование – но где книга?) К сорока годам он вспоминал тех девушек уже с сильной, ясной тоской. И лишь за пятьдесят тоска отпустила: осталась память.

Черноглазая подбегала, на какую-то секунду опережая других.

– Поясните, Геннадий, – она спрашивала о свободе в стихах Ахматовой. (О свободе поэзии и как эта свобода связана с прорывами человеческого духа вообще: отобранные заранее слова теснились; жаль, от волнения она всегда запинаясь.) Оттого что была с ним одна и первая, глаза ее делались огромными, а черные зрачки – испуганными. Но секунда мала, и вот уже возникали рядом подошедшие подруги из стайки, возникала тональность красоты, единый и общий фронт обожания, подходили, напирала усатые сослуживцы, и вот уже вопрос-другой-третий сыпались на Геннадия Голощекова, всеведущего и всезнающего, от живописи Шагала до комплекса строящихся пятиэтажек, – с каждым вопросом его обступали плотнее, и та, с черными глазами, оказывалась уже во втором, в третьем ряду, отнесенная и, быть может, сама испугавшаяся своего первого порыва.

Милая и добрая женщина (жена этого наглеца, этого скота!) угощала Нинель Николаевну коржиками домашними и еще свежим айвовым вареньем, а он – Нинель Николаевна почувствовала, теперь-то она помнит это – переводил глаза с болезненно отекавших рук своей жены на довольно изящные руки Нинель Николаевны. Но ведь мужчина смотрит так, как смотрит мужчина, – это естественно, и что же иное должна она в том чувствовать?.. Она, кажется, ищет теперь свою, хотя бы и отдаленную вину; не проступила ли на лице ее одинокость, известная ущербность, женщина за сорок и, мол, незамужем. Но нет; извините, но не было этого, никогда не было, и не может проступить на лице человека то, чего нет.

Когда она пришла после столкновения с начальством и расплакалась, он ведь обронил, утешая: «Жаль, Нинель, *жены нет* и не скоро будет. Она бы лучше, чем я, тебе посочувствовала», – и был тут искренний вздох, да, да, даже вздох его был на своем месте и в нужную минуту, который, впрочем, теперь задним числом можно осмыслить...

Геннадий Павлович Голощеков, мужчина за пятьдесят, с изрядной уже сединой и с грустными глазами, поднял с заснеженного асфальта свою шапку, надел. Было холодно. И надо было добираться домой. Как-никак ночь (повторяемость бытия). Геннадий Павлович шагал по направлению к дому с малой надеждой на случайное ночное такси, но шагал не

спеша, отдыхая, по-ночному уже расслабившийся, и (в тон себе) думал – как спокойно, как врачующе спокойно лежит над городом ночь. Как потухли дома, потемнели улицы. Как это, вероятно, необходимо столь шумному и большому городу. Чудо сна! На этой вот мысли о всех уснувших (и о врачующей их ночи) его едва не сбило снегоочистительной машиной, вдруг выбравшейся из переулка.

– Ч-черт! – вскрикнул он. Ушиб был возле бедра, но и в колене болело. А высунувшийся в окошко водитель (с мужественными, героическими складками лица) матюкался – улочка была безлюдная, бессвидетельная, и водитель вполне мог отвести душу. К счастью, обледенелый переход имел наклон от колеса во внешнюю сторону, иначе бы не уцелеть, думал Геннадий Павлович, а на крики водителя не реагировал никак: он и без него хорошо знал, что сам виноват. Однажды может случиться беда, философски рассудил он; он отряхивал снег.

Снегоочистительные машины – сигналиа теперь Геннадию Павловичу на повороте – чередой тяжело выбирались из переулка на проезжую часть улицы. Отряхиваясь, Геннадий Павлович вдруг обратил внимание, что от пальто сильно несет пивом: вероятно, облил сидевший рядом Олжус или, быть может, часом раньше Даев, это ведь не имело значения – кто. На пальто были застывшие, чуть желтые льдышки смерзшегося пива, и Геннадий Павлович, приостановившийся, отдирает ногтями желтоватые комки. Пальто было совсем неплохое, теплое. С возрастом Геннадий Павлович сделался по-холостяцки бережлив и, быть может, немного скуповат. «Жизнь научит!» – сказал он самому себе вслух и усмехнулся. И зашагал дальше по направлению к дому. Он шагал по ночной улице. Сделалось грустно, но не оттого, что нет такси, и даже не оттого, что едва не задавили, а оттого, что в его глазах он сам, Геннадий Павлович Голощеков, все еще стоит присогнувшись там, за переходом улицы, стоит и, вглядываясь в свете фонаря, старательно, озабоченно отдирает от ворса пальто замерзшие льдышки, отдирает заботливо и усердно, как и положено их отдирать старому холостяку.

На службе, где Геннадий Павлович руководил отделом, постепенно и с возрастом подступила пора, когда на должности начальника отдела его стали теснить. «На меня охотятся», – шутит Геннадий Павлович, хотя, по сути, ему уже не до шуток. Но он шутит. Или винит раннее свое старение: мол, такова жизнь – если ты слабеешь, другие становятся сильнее.

Он – дома, он занят собственной апатией и некими общими размышлениями о человеке и о человечестве, а там, на службе, высокое начальство в очередной раз кривит рот на его отдел и на недозавершенную работу (и на его, пусть даже узаконенный, больничный лист). Что оттого, что он читает на пяти языках, лучше б он поменьше болел! На службе некто Птышков, разумеется, молодой и энергичный, бегаёт, шустрит, заседает, ладно, пусть не бегаёт и не шустрит, *не принижай врага своего*, пусть он спокойно и солидно заседает с высоким начальством и в который раз намекает, ладно, не намекает, а прямо же и открыто он говорит, что отдел Голощекова вял, глух, что народ там работает вполсилы, а темы их вообще устарели, так что отдел пора если не упразднить, то хотя бы сократить. (И передать половину людей если не ему, Птышкову, то всякому другому, кто активен и деловит.)

Они там говорят, обсуждают, высказываются за и против, а Геннадий Павлович – дома.

Лучше всего представить, что в эту минуту он и впрямь вяло лежит на диване, почиывает книгу в подлиннике, на древнегреческом.

Штрих к портрету. На улице, где царствует Даев, Геннадий Павлович мягок, интеллигентен, малоприспособлен, однако, выйдя, так сказать, из уличной новеллы и вернувшись в свою квартиру и в свой обычный уединенный миропорядок, Геннадий Павлович по-прежнему мягок, интеллигентен и добр, это верно, но плюс – он вальяжен несколько и несколько высокомерен. Едва я пришел (особенно в первую минуту), Геннадий Павлович начинает рас-

суждать иронично, если не насмешливо. Он немного поучает, поругивает. Не спеша, именно что вальяжный и в добротной барской куртке, проходит Геннадий Павлович мимо стеллажей своих русских и иноязычных книг – идет поставить для гостя чайник, голос же его, неторопливо удаляющийся на кухню, продолжает поучать.

Обычно он поругивает меня за практичность (хотя я непрактичен), за явную приспособленность к жизни (хотя я приспособлен весьма средне) и за отсутствие желания изучать глубоко мир книг и мыслей (и тут он не прав: желание есть – другое дело, что мало удается). Этот слой культуры поучения, скорее всего, мифологичен. Но поскольку Геннадий Павлович ведет речь не обо мне лично, а обо мне вообще, то я и не возражаю. Условность – это почти условленность.

Он рассказывает, что он, разумеется, знал, что контакт с Даевым, *как и вообще с вами*, надолго невозможен. Хотелось всего лишь глотнуть грубого и грязного воздуха улицы. Один глоток. И разумеется, он понимал, что вместе с Даевым в квартиру, в его дом на несколько дней ворвется жизнь сегодняшней толпы, – ну и ничего не будет удивительного, если тот, та, те наследят, натопчут ногами, намусорят и наплюют в душу, этого следовало ожидать.

Затем вальяжность спадает; Геннадий Павлович просто и по-человечески говорит о своей одинокости: в сущности, жалуется. («Хочу до́ смерти общества, хочу общения с каким-нибудь старомодным университетским профессором, – говорит он невесело. – Хочу знакомства с профессорской дочкой...») Это – апатия. Вдруг ослабевший, Геннадий Павлович день за днем полеживает на диване-кровати, бездеятельный и даже мало читающий. Воскресенье. Он небрит. И – судя по щетине – был небрит вчера.

Он поясняет:

– И чтобы там был свой мир и чтобы вокруг папы-профессора, моего ровесника, этак за пятьдесят лет, суетились и мельтешили какие-то молодые люди. А я бы поигрывал с профессором в шахматы. И острил, ты же знаешь, я умею изредка быть злоязычным... Молодые и немолодые люди ходили бы вокруг нас, говорили друг другу всякие умные, тонкие слова, отточенные обдумыванием или вдохновенной импровизацией. И чтобы я – среди них. И бесконечность коридоров и комнат старой квартиры. И чтобы дочка профессора, молоденькая, умненькая и веселая, относилась ко мне с симпатией, да, да, просто с некоторой симпатией относилась ко мне, стареющему и не добившемуся ни чинов, ни высот. А? интересно?

Он погружается в этакую ни к чему не обязывающую задумчивость:

– ...Мне, Игорь, был бы сейчас хорош любой центр средоточия – просто некий уважаемый человек, пожилой, порядочный и с людьми вокруг, и чтобы я туда приходил просто так, как приходят свои люди, когда хочется. И разумеется, не надо никакой дочки.

Он вздыхает:

– И чтобы вкусно готовила толстуха-мамаша – чтобы женщины там и мужчины беседовали или вдруг садились в кресла, закуривали и с достоинством, не спеша говорили умные слова или хоть похожие на умные слова и мысли-перевертыши. Всякие там парадоксы, по-русски чуточку длинноватые и ненавязчивые, как в пьесах Чехова...

Помечтав, Геннадий Павлович несколько смущается и прячется за грубоватой интонацией практического будто бы вопроса:

– Ну и что, есть ли среди твоих знакомых такой профессор и его дочка, к которым ты мог бы меня свести?

– Нет.

– То-то.

Я смеюсь:

– Если бы мы с вами, Геннадий Павлович, туда вдруг попали, дочка выбрала бы и предпочла кого-то из молодых острословов – как раз из тех, кто закуривает, садясь в кресло и не спеша.

– Знаю: я стар.

– Вы не стары, Геннадий Павлович, вы холодны.

– Вот пусть бы и поделилась теплом – это так человечно!

Нечаянно и проговариваюсь: мол, как бы ему и в домашнем тепле, как бы и у самого старомодного профессора ему не стало одиноко.

– Что ты! Что ты! – Он даже вскрикивает. Он боится этой мысли: мысли, что он уже везде лишний, одинокий, отживший свое.

Спohватившийся, я замолкаю. Я знаю, что Геннадию Павловичу не нужна ни чья-то семья, ни чья-то дочка. Он скромн. Ему бы только сидеть, смотреть на людей. В ту, вероятно, минуту его поманила – и, возможно, осознанно – роль доктора в чеховской пьесе или повести. Роль старого, немножко неопрятного человека, умника в прошлом и добряка в настоящем. Все ходят веселые, живые, а ты сидишь в кресле (зримое отсутствие) и печально умничаешь, и даже вроде бы не живешь, а только изредка куришь. Тем более если в памяти своей ты кого-то любишь. Давняя (и неразделенная?) любовь превращает твои будни в ддящуюся положительную эмоцию, тебя же самого делает чище, проще; даже кресло старинное, в котором сидишь, та любовь делает теплее, и мягче, и понятнее вплоть до понятности некоего предназначения.

Разумеется, сидя в кресле, он хочет в неспешную паузу подавать остроумные, чуточку брюзжащие реплики окружающим людям – но кто этого, Игорь, не хочет в иные свои минуты? Мне ведь и не осталось ничего иного, кроме как брюзжать... ах да, это сказал не я, а сказали мне. Сказал человек, кстати, Игорь, *чем-то очень похожий на тебя*.

Это характерно. Я моложе Геннадия Павловича на десять с лишним лет, я, как он выражается, *из следующих*, и потому люди, вокруг него живущие, хамящие, подсаживающие, делающие дела и так или иначе загоняющие и уже загнавшие его в паутину одиночества, – это все люди, похожие на меня. Когда-то личностный акцент обижал. (Я не понимал. Но я понял.) Когда-то я даже сердился, терпел, но степень (и суть) обобщения до меня однажды наконец дошла, я понял, и с того дня яд уже не попадал в кровь – мы общались *просто, как в театре*. И уже без усилий я стал прощать Геннадию Павловичу попытку найти виновных где-то рядом, как стал прощать попытку жаловаться, попытку жить, полеживая по субботам и воскресеньям на диване-кровати в отглаженных брюках, в накрахмаленной белой рубашке, словно все еще ждет он какого-то важного звонка или дела.

Подчас глубина (нынешняя) Геннадия Павловича и особенная прелесть его интеллекта как раз в том, что воспринимать мир лично он не способен, в частности, не способен замечать, что его слова – зеркало, что личная его одиночество вылезает теперь наружу тем более, чем более он теоретичен и чем более в переменах, в бедах, как и в самой своей одиночестве, он винит кого-то *вообще*, винит *похожих на меня*. (То есть, по-видимому, всех тех, кто моложе его на десять, на пятнадцать, на двадцать, на двадцать пять лет, мужчин и женщин, что пришли вслед и вытеснили биологически его из жизни, сделав его умение пламенно говорить – смешным, а умение глубоко мыслить – ненужным.)

Я стараюсь с ним согласиться, а то и успокоить его. В конце концов, прихожу я к Геннадию Павловичу крайне редко – раз в полгода, раз в год. Я ведь тоже умею смотреть на него не лично.

Он мне – никто.

Вероятно, для его апатии обязательна прежде всего эта картинка, когда в субботние бездельные часы Геннадий Павлович, интеллигентный и умный человек, полулежит на диване

в наглаженных брюках и в белой сорочке; закинув голову, он смотрит то в потолок, то на полотно на стене, изображающее рериховскую Индию размышлений, красно-синие горы, белые их пики, притом что размышления самого Геннадия Павловича скользят вовне и к горам отношения не имеют. Он (как и многие в свой час) пробовал когда-то проникнуть в их красно-синий мир, но не нашел там обещанного покоя и, увы, вообще ничего, кроме пресноты, скуки.

С полотна он переводит взгляд на календарь. Сегодня и завтра на службу не идти, дальше – понедельник, когда он вызовет врача, если апатия совсем одолеет, или зачтет его сам себе за библиотечный день, хотя начальство зачету радо не слишком. Он лежит, он едва встает, чтобы выпить чаю; он почти не ест. В понедельник, когда он будет полеживать на диване, в его отделе – в двух смежных, как длинная кишка, комнатах – из полутора десятка его сотрудников те, кто постарше, будут покуривать, кто помоложе – посмеиваться на его счет: мол, *Дублон* наш опять дома уединился, *попивает, как же иначе*, а злодей Птышков будет вбегать к высокому начальству и там фыркать:

– О каком научном контакте с их отделом может идти речь, если Голощеков опять на бюллетене....

В один из таких понедельников, едва я вошел, Геннадий Павлович стал жаловаться, что апатия – его бич, беда и что, ей-богу, его скоро выгонят с работы, и правильно сделают. Потерял некий итогово-отчетный лист, так как Геннадий Павлович взял часть материалов для авральной работы домой, а здесь его настигла апатия. Впрочем, отчитаться он успел и сумел. А вот бумагу потерял. И никак не найти.

С работы названивали, с самого утра разъяренные голоса кричали на него в трубку, он же был болен, был вял, и это было болезнью, а не было только вялостью. И когда они кричали, даже грозили, он совершенно искренно отвечал:

– Не могу найти... Да, я лежу... Да, болен.

И вот – звонок в дверь. Пришел человек, мужчина, и Геннадий Павлович как-то сразу испугался, потерял лицо, оттого только, что человек, едва войдя, прошагал в комнату и, оглядевшись, так небрежно сел в кресло. Заговорил человек грубо, жестко. Спрос – дело нехитрое, тем более нетрудно вести себя по-хамски, если тот, к кому пришел, разбит длительной апатией, заторможен и настолько далек сейчас от дел, что уж заранее чувствует себя виноватым и получающим зарплату зря. Хамоватый мужчина ругал, а закончил просто:

– Вы поищите, поищите. Вы ведь потеряли.

– Где же я поищу?

– Да хоть в этой горе...

Хам еще и пнул ногой гору книг, каких-то бумаг и коробок из-под обуви, тоже почему-то оказавшихся посреди комнаты и украшавших общий вид (вид не столько сорный, сколько громоздкий). Он пнул ногой, затем перешагнул и прошел сам на кухню, налил себе стопку водки, выпил – затем, вернувшись и отстранив, почти оттолкнув вяло склонившегося над бумагами Геннадия Павловича, подступил к телефону.

Он позвонил, видимо, вышестоящему, а может быть, начальнику первого отдела.

– Нет, он не пьян, – сказал он, – но тут такой бардак, черт голову сломит. Завал книг. Что значит, в каком он состоянии? Я же не психиатр. Шут его знает, – скользнул он глазами по согнувшейся над бумагами фигуре Геннадия Павловича, – обычный он, но только пришибленный, дохлый...

Докладывая, он одновременно водил кистью руки – указывал Геннадию Павловичу:

– Вы все-таки ищите, ищите...

И вот мы – я и Геннадий Павлович, два взрослых человека, – лазали и искали: ползали на коленках по завалу книг и бумаг, у *холостяка, разумеется, горы книг – хоть что-*

то в жизни, как сказал тот хам по телефону своему начальству, он докладывал, но он еще и рассуждал: холостяк, мол, без книг – это просто развалина или пьянь. Ползая, я время от времени извлекал бумагу – не эта ли?.. Как всякий ценитель, Геннадий Павлович, прикупая книги, с удовольствием перебирал их все вместе, раскладывал, рассматривал, читал, но так случилось, что апатия в этот раз застигла его не только посреди отчета, но и посреди перебирания книг. Так что в комнате были и гора книг, и гора отчетных бумаг.

– Не эта ли?.. – спрашивал я. И опять: – Не эта?

Тот тип, хам, в отдельные минуты все же смотрел на меня как на возможного собутыльника Геннадия Павловича, предполагая, что пили вчера и что сегодня мы бы тоже хоть понемногу выпили, но вот он пришел от начальства, и потому мы тихо умираем, но похмелиться в его присутствии не смеем. Он жестко улыбался; сидя в кресле, он покуривал и стряхивал пепел на пол: в сарае, мол, как в сарае.

Он мне очень не нравился, но, боясь Геннадию Павловичу навредить, я, гость раз в полгода, не вмешивался и тем более не шел на ссору.

Тот тип ушел.

Я спросил:

– Это и был Птышков?

– Нет.

– А кто?

– Один из них. Его человек...

Работа в НИИ не доставляла Геннадию Павловичу с его умом никаких сложностей; были похвалы, было немало поощрений, однако он и в лучшие дни не притворялся и отношения не скрывал: он считал работу свою делом незначительным. Но пришел возраст с признаками раннего старения, и Геннадий Павлович уже не устраивал ни тех, кто когда-то его хвалил, ни тех, кто сейчас был в его подчинении.

(Работа, в сущности, его уже мучит.)

Пауза.

Тот человек ушел, и вот Геннадий Павлович хотя и вялый, хотя и после определенного служебного унижения, но делается вновь по возможности вальяжен, рассудителен. Я (ему не мешая) молчу. В эту возвратную минуту особенно видно, как потускнело бывшее великолепие духа. Его слова малоинтересны. Он повторяется. А одиночество и даже потеря бумаги вдруг ставятся опять в вину мне. Нет, не персонально мне, а мне вообще, мне как человеку вполне семейному, вполне работающему, вполне поладившему с жизнью, и всякие тут другие вполне, вполне, вполне, которых на деле у меня, быть может, и нет, но и оспорить которые я не могу, иначе он будет думать, что к тому же я отнимаю у него и последнее – право быть обиженным. Когда душа жалуется, дух живет. Разумеется, Геннадий Павлович достаточно умен, и, разумеется, обвиняет он, изысканно и в меру обобщенно, *его окружающих*. Но ведь этих окружающих нет: никого нет. Есть только я, раз в полгода к нему приходящий, более или менее случайный человек и случайный приятель – просто сосед по человечеству, как выразился он однажды.

(Но удивительно вот что. Я и правда уже привык чувствовать себя в его судьбе отчасти виновным; и чувствую это, едва переступаю порог.)

Помнится, речь его была ярка и колка именно за счет необщепризнанных суждений.

– Я настораживаюсь, когда беру в руки всякую книгу.

Так сказал он о необходимости веры вместе с необходимостью неверия когда-то в пору своего блистания.

Только что был тот хамоватый тип, и мы оба ползали, ища важную потерянную бумагу, но вот, непосредственно за той, следует иная минута: мы вовсе не ползаем, а сидим в креслах неподалеку от той самой неприбранной горы книг и бумаг, толкуем, рассуждаем, сидим в довольстве собой и не без значительности; Геннадий Павлович читает Сартра, бегло мне переводя. Мы не те люди, что оправдывались. Мы – другие. И гора книг – другая гора, и бумаги вокруг нас другие, так что если сейчас мы ту бумагу случайно найдем, наткнемся, то, пожалуй, и не вспомним, зачем она, в руки не возьмем – мол, бумажонка.

Сурово и одновременно доброжелательно Геннадий Павлович объясняет мне, хоть я и не просил, почему мне не следует, *не должно* писать повестей-портретов.

– Портрет ничего не может выразить, даже и того, что он портрет.

Еще:

– Портрет, как всякий жанр, – заблуждение. Игра с собой. Но и хуже – игра с читателем.

Еще:

– Портрет и сюжет – два глупых всеобщих мифа, за которые пишущие люди держатся, как римляне за греков.

Затем Геннадий Павлович наконец успокаивается, стихает. Он не перебарщивает. Чуткий.

Я встаю. Пора.

– И отчего эти апатии? – спрашивает уже с искренним возмущением Геннадий Павлович, прощаясь со мной.

Он вздыхает:

– Совсем замучили. По две-три недели не могу книги прочесть, не могу даже пальцем пошевелить...

Мне хочется, как это бывает в завершающемся разговоре, также пожаловаться, сказать, что я, мол, тоже не примерен и тоже по две-три недели в течение года ухожу *в бега*. Да, да, тоскую, как бродяга, и не могу жить в семье, ухожу. Да, две-три недели каждые полгода. Да, дергаюсь. Да, бывает и чаще... Но я не скажу ему – не стану соединять одно и другое, хотя, может быть, эти наши отхождения от нормы (его апатии и мои побеги) как раз соединимы. Я промолчу, так как, по мнению Геннадия Павловича, ничего подобного со мной быть не может. Тут что-то – что не в словах. По выданной мне роли у меня уже налажен контакт с людьми и с жизнью вообще, и, стало быть, я не могу здесь пожаловаться. Ни у него. Ни у нее. Меня не поймут. Он подумает, пожалуй, что ирония.

У Нинели Николаевны на работе тоже непросто: возможно, она слишком требовательна к людям, но уж такая она. Она молчит. Но молчание ее всегда чревато. Она, к примеру, терпеть не может каких бы то ни было делишек, тем паче продаж и перепродаж, а как раз сегодня сослуживица принесла на работу туфли, которые оказались ей велики. Или, напротив, – тесны; она в уголке, возле шкафов, жалуется на свои натертости, а заодно показывает и туфли – ее обступают, и кто-то, сослуживец, соглашается купить для своей, что ли, жены и передает уже деньги, как вдруг, сначала ими не примеченная, резко вмешивается Нинель Николаевна. Оказывается, она не пошла на обед. Она возмущена, и даже не мещанским их дельцем, а мещанской их суетливостью вокруг, улыбками их, радостью – и ведь мужчина, мужчина купил, какое падение!.. Бацнув дверью, Нинель Николаевна уходит наконец обедать. Туфли скоренько продаются. Но на лицах сослуживцев удовольствия нет. Обряд испорчен. И разумеется, недовольны (мягко говоря) Нинелью Николаевной особенно женщины, так как пять минут покрутиться возле туфель в обеденный перерыв на службе – милейшее ж дело, радость! Чего она к нам вяжется?.. Но ведь еще и после работы Нинель Николаевна, выйдя из проходной, пристраивается и шагает чуть сзади той самой сослуживицы на пути к автобусу.

И негромко ей говорит:

– Ну, как *дела*?

Мол, туфли, блузки, удастся ли и дальше спекулировать вам, милая, – хорошую ли дают цену? И, обгоняя, шепчет:

– Продолжайте, продолжайте – желаю успеха!

Но печальное происходит через месяц-другой, когда Нинель Николаевна вдруг понимает (*вдруг* через два месяца – для нее характерно), что женщина вовсе не перепродавала, а по необходимости и за нормальную цену принесла продать, сбить купленные для себя туфли и что именно тесны были туфли, малы, куда ж деться. Понять – это ведь еще и простить. С прощением вместе всколыхнулась совесть, Нинель Николаевна теперь уже и сама додумывает (и надумывает) подробности: сослуживице, мол, деньги были остро необходимы, бытовая драма, и муж, мол, попивает, и ребенок, мол, болен. И далее и все более и более привносит в тот случай Нинель Николаевна жалостливой психологии, так что в одиночества своей уже страдает, страдает подлинно и больно. В отделе давно забыты те туфли, мелочная стычка возле шкафов забыта, уже были другие, как бы сезонные стычки меж сотрудниками, и эти, другие, тоже забыты, все потонуло в текучести, в жизни, в череде служебных мелочей, а Нинель Николаевна мучается. Теперь она понимает, как глубоко она была не права: обидела человека.

Она хотела бы загладить вину, но как? И рассказать (передоверить) некому – и вот, с накопившимися повинными словами и угрызениями, Нинель Николаевна покупает однажды билеты в театр, после чего зовет ту женщину, искренне и дрогнувшим голосом зовет ее пойти вместе в театр, на неплохой спектакль, но та наотрез отказывается. Той и правда некогда: дети. Да она и вообще не хочет!.. И, вспомнив вдруг первопричину, та женщина вызывающе улыбается.

– А знаете, мне интересно, что вы сделаете теперь с лишним вашим билетом, дорогая Нинель Николаевна?! – смеется она, намекая с известной долей наглости, что Нинель Николаевна одинока, что пойти ей не с кем и что – о ужас! – не придется ли теперь и ей продать один из билетов с рук, как были проданы те тесные туфли.

Нинель Николаевна и точно продала билет у входа в театр, твердя себе, что пусть же наконец случившееся станет уроком; довод в пользу; вся в поту и боясь на окружавших ее оглянуться, она заставила себя продать лишний билет какой-то подскочившей девице, продала, вошла в театр, но и спектакль не радовал, ибо внутренние ее мучения еще не улеглись, длились.

В отделе, если по возрасту, Нинель Николаевна самая старшая, сорока-с-лишним-летняя женщина, со следами кой-какой былой красоты, строгая, строго одетая, которую они все терпеть не могут.

При виде курильщика, хотя бы и в коридоре, Нинель Николаевна издает крик, клик лебедя; мол, человек совершенен и как же можно окружающих тебя людей травить; курить – подло, гадко; курить – все равно что открыть газ на ночь в жилой квартире!.. Она не жалуется разговорчивых сотрудников, ей не по душе слишком суетные и деловые, но особенно же курильщиков преследует она, как фурия, как сама неумолимость, отчего уж давно гуляет по коридорам и по отделам НИИ нестареющая шутка, что курить вредно не потому, что можно умереть от рака, а потому, что можно умереть от свирепой Нинели. Облик (да и образ) худой и крикливой полустарухи уже как бы маячит впереди ее жизненного пути, ожидает ее, чтобы лет через пять-восемь совпасть с ней уже навсегда.

Есть у них К., молодой карьерист, недавно появившийся в отделе и всех раздражающий; однажды решили, что в запланированную уже командировку с К. заодно под видом необходимости отправят и Нинель Николаевну, именно чтобы досадить ему и чтобы она,

в свою очередь, какое-то время тоже не мозолила всем глаза, давала курить. Вопрос был решенный. Они заранее тешились хорошо вызревшей, сладкой мыслью о предстоящем общении их с глазу на глаз в течение двадцати дней, они предвкушали, они ждали, они похатывали загодя, а затем кто-то из них вдруг сказал, что ему молодого К., этого жуткого карьериста, жалко.

– Нет, мужики, – сказал он. – Как и вы, я этого К. не перевариваю и готов пожелать ему всех зол, но то, что мы задумали, *это уж слишком*.

– Да, – вздохнули и другие, поразмыслив. – Это слишком, да, да, *это бесчеловечно*.

Общими усилиями и с общей мукой они все вместе терпят и как-то выносят крикливую фурию, но каково будет вынести ее в одиночку, нет, нет, мужики, есть же предел!..

Когда появилась молодая и красивая женщина Валя, решено было отдать ей место какой-нибудь стареющей сослуживицы – и, конечно, совпало с желанием избавиться от Нинели. Пошли разговоры: а не перейти ли вам, уважаемая Нинель Николаевна, в другой отдел? А что-то наша Нинель Николаевна плохонька в последнее время – она не справляется с объемом работ, как вы считаете?.. Нинели Николаевне пришлось воевать и, в частности, на волне своего возмущения и гнева пришлось пойти к начальству, там она защитила себя, она именно сумела себя защитить (не более того), но тогда в отделе стали считать, что она сделала некрасивый, подлый шаг – написала донос.

Первое время Нинель Николаевну (отстоявшую свое место и ставку) их разговоры не задевали; она еще победоноснее делала поутру гимнастику, подкрашивалась, прятала, как могла, морщины. Держалась независимо и гордо. Но опять, увы, *Нина – это Нина*. Именно когда страсти улеглись, когда сослуживцы поуспокоились и даже смирились, она спустя месяц-два вдруг стала припоминать и мучиться прошедшей склокой. Ведь как-никак она жаловалась. Ведь это ей (!) кажется, что звонила она начальству в гневе и ярости и что обратилась с жалобой, а что, если она обратилась – с доносом? Ведь как смотреть – так и видеть; и разве не предала она даже возможностью этих грязных предположений свою высокую и прекрасную юность? И кому же она пожаловалась – *начальству*?.. Несколько еще дней Нинель Николаевна мучила себя, упрекала, стыдила, казнила юностью, а потом открыла ночью газовые краны, домучив в одиночестве себя до того, что, мол, хватит жить. К счастью, обошлось. Два дня рвоты, две недели тяжелой депрессии. Она болела и, разумеется, на службе никто ничего лишнего не узнал. (Она слишком горда, чтоб бить на жалость. Они могли б подумать, что она открыла краны из-за них – мол, угрызения совести. А угрызения были не из-за них – из-за себя.) Она просто болела, вот и все.

В те дни ее пересадили (она не спорила) за стол, что в самой глубине комнаты – как бы в нише, и еще больше стали заваливать работой.

Они уж не пытаются от нее освободиться – побаиваются и только по-прежнему над ней посмеиваются. Она их презирает и по-прежнему спуску им не дает. Строгости с дисциплиной дали и им, и ей взаимные дополнительные возможности.

После того как она наглоталась газа, ее лицо несколько дней дергал тик, а сама она впала в полное безучастие. В такси мы ехали тогда к врачу, с которым была договоренность. Дни напролет до этого Нинель Николаевна молчала. Мы ехали, потом стали у светофора, и Нинель Николаевна вдруг тихо проговорила:

– Вспомнила тот дом.

Мы стояли, пережидая поток машин, а она повторила тихо:

– Вон тот...

И показала рукой дом напротив перекрестка. Обычный московский старый дом. Она не помнила, чем или как он был связан с ее жизнью, не помнила ни событий там, ни людей.

Но сам дом помнила. И, когда машина поехала дальше, она, повернув голову, долго за ним следила. Лицо было освещено; было заметно, как тик дергает левую щеку.

В каком-то смысле она *несгибаемая*; ее не согнуть; она сидит, загруженная однообразной и, вероятно, бесконечной обработкой смет, скучной, в сущности, работой, которую тем не менее она рьяно делает. Этим пользуются, – как заведенная, пересчитывает она смету за сметой, а они знай подбрасывают. Быть может, они, немужественные, попросту ждут, что однажды она устанет (откажется, уйдет в другой отдел, кто знает?..). Приносимая ей гора бумаг растет. Иногда скопившиеся на ее столе папки с грохотом падают.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.